

64048



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ФРАНЦИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

АНАТОЛЯ ФРАНСА

ANATOLE FRANCE

1844

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
А. Л. ВОЛЫНСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

АНАТОЛЬ ФРАНС

ТОМ ВОСЬМОЙ

РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД И РЕДАКЦИЯ
М. А. КУЗМИНА И К. И. РАТКЕВИЧ.
ПРЕДИСЛОВИЕ К. И. РАТКЕВИЧ

МОСКВА—ПЕТЕРБУРГ МСМХХІІ

Александру Стейнлену
и Люсьену Гитри,

которые сумели придать один—
рядом удивительных рисунков, дру-
гой — прекрасным созданием своего
драматического гения, характер
трагического величия смиренной фи-
гуры моего овощного торговца.

А. Ф.

КРЕНКЕБИЛЬ, ПЮТУА, РИКЕ
и прочие поучительные рассказы

CRAINQUEBILE, PUTOIS, RIQUÉ
et autres récits profitables

1904



Р. В. Ц. 1886.

Тираж 5500 эк.

Типография Коминтерна Екатеринбургский пр. 87.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1904 году, когда во Франции вышел предлагаемый здесь том рассказов, Анатоль Франс был уже вполне сложившимся писателем, с определенным философским направлением мысли и выработанными приемами творчества. Мешает ли Анатолию Франсу философский склад ума воспринимать явления жизни просто и непосредственно, без теоретической предвзятости, мы не знаем. Но несомненно, во всяком случае, что в книгах его ощущается довольно сложная рефлексия, придающая им почти всегда оттенок некоторого утонченного резонерства. Скептик, знающий относительную ценность человеческих понятий и установлений, он постоянно доказывает ничтожность всего, что создано человеком и что тот в своей близорукости считает абсолютным. Делается это или путем стройной цепи умозаключений, развиваемых его персонажами, или путем резкого, неожиданного сближения вещей и понятий, которых мы обычно, отдаваясь непосредственной деятельности, не сближаем. «Поразительно, говорит в рассказе «Жан Марто» господин Бержере, что состояние бродяжничества, караемое шестью месяцами тюремного заключения и десятью годами поднадзорного состояния, как раз и есть то самое, на которое св. Франциск Ассизский обрек своих учеников и сестер св. Клары». В другом рассказе говорится: «Г-н Тома любил применять кару. Это было следствием его доброты. Привыкнув воздавать хвалу Господу за ниспосылаемые ему в наказание за первородный грех зубную боль и колики в печени, он жаловал бездомным бродягам тюрьму и штраф, как милостыню, как дар». В соответствии с этим ироническим сближением несовместимых, как будто, понятий, автор допускает и стилистические комбинации, кажущиеся контрастными, как «кара», «первородный грех», с одной стороны, и «колики в печени», с другой. В рассказе «Неподкупные Судьи» идут размышления о нелепости и неизменной жестокости права, того установления, которым так гордится—и не без некоторых оснований—наша цивилизация. Они подкреплены пародией на глубокомысленный разговор судей: это обмен мнениями между двумя лошадьми относительно незыблемых устоев, на которых должно покоиться лошадиное общество.

Однако скептицизм Анатolia Франса имеет свои пределы. При умалении всех ценностей, две из них остаются всетаки неприкосновенными: гуманность и эстетизм, что придает особый характер его иронии. «Ирония, к которой я обращаюсь, читаем мы в одном месте, отнюдь не жестока. Она не высмеивает ни любви, ни красоты. Она кротка и благожелательна. Ее смех утишает гнев, она научает нас смеяться над злодеями и глупцами; не будь ее, мы, может быть, поддались бы малодушной ненависти к ним». Любовь и красота принимаются как нечто абсолютно ценное. И это тем более поразительно, что рушится все, а их неизбежность как будто не нуждается в глазах этого скептика ни в доказательстве, ни в оправдании. Такова непоследовательность его скептицизма. В связи с этим понятно, почему его ирония бьет главным образом по тому, от чего страдает человек, что антигуманно и безобразно по самому существу своему.

Значительное место, уделяемое в книгах Анатolia Франса философским рассуждениям, дало повод некоторым его критикам утверждать, что его творения не что иное, как остроумные речи автора, лишь в целях живости изложения и диалектической игры вложенные в уста разных лиц, что на самом деле ни персонажи, ни сюжет совершенно его не интересуют. Конечно, это утверждение является преувеличением. И, оставаясь в пределах только предлагаемого нами тома, можно указать, наряду с такими рассказами, которые действительно являются почти сплошными рассуждениями на определенную тему, как «Сон Марто», и на такие, в которых выдвинута на первый план ситуация — «Большие маневры в Монтеле», или дан типический портрет героя, как «Онезим Дюпон». Но и здесь все подчинено у Анатolia Франса некоторой скептической усмешке над ограниченностью нашего духа, ироническому сопоставлению вещей, имеющему целью показать их ничтожность. Вместе с тем в рассказах его наблюдается следующая особенность. Факты как бы игнорируются, не попадают в поле зрения читателя, но вскользь брошенными замечаниями, как бы намеками, нам дается возможность догадываться о их существовании. Таков рассказ «Адриенна Бюкэ». Любвиная связь Адриенны с Жеро отодвинута автором на задний план, не занимает никакого места в структуре превосходной новеллы. Главный же интерес переносится на изображение атмосферы идей и чувств, имеющих чрезвычайно малое отношение к скрытой в глубине повествования романтической теме.

Стиль А. Франса классически точный, ясный; слова употребляются преимущественно в их прямом значении, без налета импрессионизма и символизма. Часто он достигает предельной сжатости. Таково, например, описание той ночи, когда Кренкебиль ищет способов вернуться в тюрьму. «Он поднялся и вышел на улицу. Было не позднее одиннадцати часов.

Стояла скверная погода; было темно. Падала холодная изморозь, пронизывавшая сильнее дождя. Редкие прохожие жались к стенам» и т. д. В таких же точных выражениях дается описание фантастической фигуры полицейского, с которым Кренкебиль с отчаяния затевает бесполезный разговор.

Этот спокойный, точный язык украшен старинными оборотами речи, пересыпан философскими и художественными терминами, употребляемыми лишь в специальных трудах. Стройные цепи доводов то и дело непринужденно иллюстрируются историческими и литературными фактами и анекдотами, бесчисленный запас которых хранит память этого эрудита, либо цитатами из разнообразных произведений литературы всех веков, из античной комедии, из музыкальной драмы Гофмана и т. д. Все это придает стилю Анатolia Франса характер объективности и высокого бесстрастия.

Предлагаемые здесь рассказы выходят по-русски впервые, за исключением «Кренкебиля», который был переведен уже и раньше. В оригинале, как уже было сказано, они появились в 1904 г. Из них «Кренкебиль» был напечатан первоначально в 1901 г. в художественно иллюстрированном издании под заглавием «Дело Кренкебиля». Затем сюжет был перелит в сценическую форму, и пьеса шла в одном из парижских театров. Воспроизводимое в нашем издании посвящение к «Кренкебилю» обращено к художнику, иллюстрировавшему первое издание, и актеру, исполнявшему заглавную роль в сценической обработке рассказа.

К. Раткевич.

I

КРЕНКЕБИЛЬ

1

Беличие правосудия всецело пребывает в каждом судебном приговоре, произносимом во имя державного народа. Уличный торговец Жером Кренкебиль познал, насколько священен закон, когда был привлечен к судебной ответственности за оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей.

Заняв свое место на скамье подсудимых в великолепном мрачном зале, он увидел перед собою судей, секретарей, адвокатов в мантиях, пристава с цепью на груди, жандармов и, за перегородкой, обнаженные головы безмолвных зрителей. Он и сам сидел на возвышении, как будто одно появление перед судьями доставляло обвиняемому зловеший почет. В глубине зала, между двух ассессоров, восседал председатель суда Буриш. Ученый значок был у него на груди. Над судилищем возвышались: бюст Республики и Распятие, так что все законы божеские и человеческие осеняли голову Кренкебиля. Это повергло его в праведный ужас. Не обладая философским умом, он не спрашивал себя, что должны были выражать этот бюст и это Распятие, и не доискивался, как уживаются в суде Иисус с Марианной ¹⁾. А над этим стоило поразмыслить, ибо папская доктрина и церковное право во многом расходятся с республиканской конституцией и сводом гражданских законов. Ведь декретаии, как известно, не были уничтожены.

¹⁾ Марианне—народное прозвище французской республики (примеч. перев.).

Церковь Христова попрежнему учит, что законны лишь те власти, которые ею поставлены. Французская же республика продолжает настаивать на своей независимости от папской власти. Кренкебиль имел бы некоторое основание сказать:

— Господа судьи, так как президент Лубе не помазанник Божий, то Христос, которого вы повесили у себя над головой, отводит вашу власть через посредство вселенских соборов. Или он здесь, чтобы напомнить вам о правах церкви, которые уничтожают ваши, или его присутствие здесь не имеет никакого разумного значения.

На что председатель Буриш, может быть, возразил бы ему:

— Подсудимый Кренкебиль, французские короли всегда были не в ладах с папами. Вильгельм Ногаре был отлучен от церкви, но не поступился своими правами из-за таких пустяков. Этот Христос — не Христос Григория VII и Бонифация VIII. Это, если вам угодно, евангельский Христос, который понятия не имел о церковном праве и не слыхивал о церковных декретах.

На что Кренкебиль волен был бы ответить:

— Евангельский Христос был просто бунтарь. К тому же он был осужден, а приговор над ним, вот уже 19 столетий рассматривается всеми христианскими народностями, как важная судебная ошибка. Попробуйте-ка, господин председатель, приговорить меня Его именем хоть к двум суткам ареста!

Но Кренкебилю было не до политических, исторических или социальных соображений; он был поражен изумлением. Окружавшая его обстановка внушала ему высокое представление о правосудии. Проникнутый почтением, охваченный ужасом, он готов был положиться на судей в решении вопроса о своей виновности. По совести он не считал себя преступным, но он чувствовал, как мало значит совесть овощного торговца перед символами закона и вершителями общественного правосудия. Да и защитник успел уже наполовину убедить его, что он виновен.

Краткое и спешное следствие подтвердило тяготевающие над ним обвинения.

2

Приключение Кренкебиля

Овощной торговец, Жером Кренкебиль, возил по городу свою ручную тележку и выкрикивал: *капуста, репа, моркови!* Когда же у него бывал порей, он кричал: *спаржа, спаржа!* Порей — спаржа бедняков. И вот, 20 октября, в полдень, когда он проходил по Монмартрской улице, башмачница, госпожа Баяр, вышла из своей лавочки и подошла к его тележке с овощами. Пренебрежительно подняв пучок порея, она сказала:

— Не очень-то хорош ваш порей. Почему пучок?

— Пятнадцать су, хозяйка. Лучше не найдете.

— Пятнадцать су за три штуки дрянного порея? — И она с отвращением швырнула пучок обратно в тележку.

Как раз в эту минуту появился полицейский № 64 и сказал Кренкебилю:

— Проезжайте!

Кренкебиль уж лет пятьдесят «проезжал», с утра и до вечера. Подобное требование, поэтому, казалось ему вполне законным и согласным с природою вещей. Вполне готовый ему подчиниться, он стал торопить хозяйку, чтобы она скорее брала, что ей по вкусу.

— Дай выбрать товар-то, — ворчливо ответила башмачница. Она снова пересчитала все пучки порея, наконец взяла один, показавшийся ей лучше всех, и прижала его к груди, как святые на иконах прижимают пальмовую ветвь.

— Будет с вас и 14 су. Да подождите, пока я схожу в лавку; со мной нет денег.

Держа в объятиях свой пучок порея, она вернулась в башмачную лавку, куда только что перед нею вошла покупательница с ребенком на руках.

В эту минуту полицейский № 64 во второй раз сказал Кренкебилю:

— Проезжайте.

— Я жду денег,—ответил Кренкебиль.

— А мне какое дело до ваших денег! Говорят вам: проезжайте,—настойчиво повторил полицейский.

Тем временем лавочница примеряла голубые башмачки полуторагодовалому ребенку, матери которого некогда было дожидаться. Зеленые же головки порея покоились на вырубке.

Полвека возил по улицам Кренкебиль свою тележку и за это время научился повиноваться представителям власти. Но на этот раз он очутился в исключительном положении между правом и долгом. Юридическим умом он не обладал. Он не понимал, что пользование личными правами не освобождало его от выполнения общественных обязанностей. Он слишком увлекся своим правом получить 14 су и недостаточно вникнул в обязанности, состоявшие в том, чтобы возить свою повозку и безостановочно подвигаться вперед. Он продолжал стоять. В третий раз полицейский № 64, спокойно и без гнева, приказал ему проезжать своей дорогой. В противоположность бригадиру Монтосель, который беспрестанно грозит, но никогда не карает, полицейский № 64 скуп на предупреждения и скор на протокол. Таков его нрав. Он себе на уме, но отличный служака и честный солдат. Он храбр, как лев, и кроток, как дитя. Он знает только свои предписания.

— Что же вы, не слышите, что ли? Я вам говорю: проезжайте!

В глазах Кренкебиля причина, удерживавшая его на месте, была слишком важной, чтобы с ней не считаться. Просто и безыскусственно он изложил ее.

— Чорт возьми, да говорю же вам, что я дожидаюсь денег.

Полицейский № 64 ограничился следующим ответом:

— Дождетесь вы, что я закачу вам протокол за нарушение обязательных постановлений. За этим дело не станет.

Услышав это, Кренкебиль пожал тихонько плечами, грустно поглядел на полицейского и перевел глаза на небо. Взглянув на него, казалось, говорил:

— Видит Бог, я ли не уважаю законов? Я ли наседаю над постановлениями и предписаниями, определяющими торговлю в разнос? В пять часов утра я был уже на рынке, с семи часов я мозолю себе руки об тележку и кричу: *капуста, репа, морковь!* Мне уже стукнуло шестьдесят лет. Я устал. А вы спрашиваете, не поднимаю ли я черного знамени восстания? Вы издеваетесь надо мною, и ваша насмешка жестока.

Но полицейский или не заметил выражения этого взгляда, или не нашел в нем достаточного оправдания неповиновению, только он грубо и отрывисто спросил — поняли его или нет?

А как раз в эту самую минуту скопление экипажей на Монмартрской улице достигло крайних пределов. Казалось, что извозчики, ломовики, мебельные фуры, omnibusы, возы, напирая друг на друга, сбились в такую кучу, что им не разехаться. Над их трещащей неподвижностью носились крики и брань. Еще издали кучера начинали неспешно обмениваться отборными словечками с мясниками, а кондуктора omnibusов, считая Кренкебиля причиной остановки, обзывали его: «чортовым пореем».

Тем временем на тротуаре собралась кучка любопытных, привлеченных ссорой. Полицейский, видя, что на него смотрят, думал только о том, чтобы показать свою власть.

— Хорошо же,—сказал он и вытащил из кармана засаленную записную книжку и огрызок карандаша.

Кренкебиль, повинаясь внутреннему чувству, добивался своего. К тому же теперь он уже не мог двинуться ни вперед, ни назад. На свою беду, колесом своей тележки он зацепился за колесо повозки молочника. Он просто волосы на себе рвал и кричал:

— Да ведь сказано вам, что я денег дожидаюсь! Экая беда, прости Господи!

Хотя эти слова скорее выражали отчаяние, чем возмущение, полицейский № 64 счел себя оскорбленным. А так как для него всякое оскорбление неизбежно принимало постоянную, традиционную, священную, ритуальную и, так сказать, литур-

гическую форму «Чтоб вам, скотам, околеть»¹⁾, то слова преступника мгновенно слились для его слуха в этот крик и в этом виде запечатлелись в его сознании:

— А, вы сказали: «Чтоб вам, скотам, околеть!» Отлично, следуйте за мной.

В крайнем изумлении и отчаянии Кренкебиль вперил в полицейского № 64 свои слезящиеся, красные глаза и надтреснутым голосом, который, казалось, то звучал над его головой, то выходил из-под пяток, воскликнул:

— Как?! Я сказал: «чтоб вам, скотам, околеть!» Я! Ох!

Хохот лавочников и уличных мальчишек приветствовал арест Кренкебиля. Он удовлетворял склонности к жестоким и низменным зрелищам, которая проявляется у любой толпы. Вдруг старик, с печальным лицом, одетый во все черное, в цилиндре, протискался сквозь толпу зевак, приблизился к полицейскому и кротко, но твердо сказал ему, не возвышая голоса:

— Вы ошиблись, этот человек не оскорблял вас.

— Не вмешивайтесь не в свое дело,—ответил ему полицейский, не произнося, однако, угрозы, так как имел дело с прилично одетым человеком.

Старик настаивал, спокойно и упорно. Тогда полицейский приказал ему отправиться для объяснений к комиссару.

Кренкебиль же, между тем, все восклицал:

— Да когда же я сказал: «чтоб вам, скотам, околеть!» Ох!...

Так твердил он в изумлении, когда башмачница, госпожа Баяр, подошла к нему, держа в руке 14 су. Но полицейский № 64 уже схватил его за шиворот, и г-жа Баяр, решив, что нечего считаться с человеком, которого ведут в участок, опустила деньги в карман своего фартука.

¹⁾ Mort aux vaches — непереводимое выражение: так парижская толпа обычно бранит полицию (прим. перев.).

Видя, что тележку его забирают на с'езжую, а самого его лишают свободы, Кренкебиль почувствовал, что земля уходит из-под его ног, что солнце меркнет у него над головой, и только и мог, что пробормотать:

— Ну, дела!

В участке старик рассказал комиссару, что, остановленный на улице скоплением экипажей, он был свидетелем происшествия, и утверждает, что полицейский не подвергся никакому оскорблению, что он ослышался. Он сообщил свое имя и звание — доктор Давид Матье, главный врач больницы Амбруаз Парэ, кавалер ордена Почетного Легиона. В другое время подобного заявления было бы достаточно для комиссара. Но в ту пору во Франции ученые считались неблагонадежными.

Арест Кренкебиля признали правильным, и он, проведя ночь в холодной, утром был отвезен в «салатной корзине»¹⁾ в тюрьму.

Заключение в тюрьму не показалось ему ни тягостным, ни унижительным. Он принял его, как должное. При входе в камеру, его поразила чистота стен и каменного пола. Он сказал:

— Ну и чисто! Вот уж чисто! Хоть ешь на полу!

Оставшись один, он хотел подвинуть табурет, но увидел, что тот прикован к стене. Он громко высказал свое изумление:

— Вот так штука! Мне бы этого в век не выдумать!

Он уселся и, все продолжая изумляться, принялся вертеть пальцами. Тишина и одиночество угнетали его. Ему стало скучно, и он озабоченно вспомнил о своей тележке, которую взяли на с'езжую вместе с капустой, морковью, сельдереем, салатом и цикорием. В тревоге он спрашивал себя:

— И куда только они девали мою повозку?

На третий день его посетил назначенный ему защитник, адвокат Лемерль, один из самых молодых членов парижской

¹⁾ Так называют карету для перевозки арестантов.

адвокатуры, председатель одной из секций «Лиги французского отечества».

Кренкебиль попробовал рассказать ему свое дело. Это было ему не легко, так как он не привык излагать свои мысли. Однако, может быть, ему и удалось бы справиться с этим при некоторой поддержке. Но защитник на все, что он ни говорил, покачивал недоверчиво головой и, перелистывая бумаги, бормотал:

— Гм... гм... Я ничего подобного не нахожу в протоколе.

Потом, несколько устал, сказал, покручивая усы:

— В ваших интересах было бы, может быть, выгоднее сознаться. Я, с своей стороны, считаю, что этот ваш прием полного запирательства поразительно неловок.

И с тех пор Кренкебиль охотно бы сознался, знай он только, в чем надо было сознаваться.

3

Кренкебиль перед лицом правосудия

Председатель Буриш посвятил допросу Кренкебиля целых 6 минут. Этот допрос мог бы пролиться значительно больше света, если бы обвиняемый отвечал на предлагаемые вопросы. Но Кренкебиль не привык много говорить, а перед такими важными особами и совсем онемел от почтения и страха. Поэтому он молчал, а председатель сам отвечал за него, и все ответы клонились к обвинению. В заключение, он спросил:

— Итак, вы признаете, что сказали: «Чтоб вам, скотам, околеть!»

— Я сказал: «Чтоб вам, скотам, околеть», потому что господин полицейский сказал: «чтоб вам, скотам, околеть». Тогда и я сказал: «Чтоб вам, скотам, околеть».

Он хотел сказать, что, пораженный таким неожиданным обвинением, он в оцепенении повторил те странные слова, которые ему ошибочно приписывали и которых сам он,

конечно, не произносил. Он сказал: «Чтоб вам, скотам, околеть», так же, как сказал бы: «Стану ли я ругаться! Как вы могли это думать?»

Но председатель Буриш понял его иначе.

— Утверждаете ли вы, спросил он, что полицейский первый произнес эти слова?

Кренкебиль отчаялся что-либо об'яснить. Это было слишком мудрено.

— Вы не настаиваете? Отлично делаете,—сказал председатель и велел ввести свидетелей.

Полицейский № 64, по имени Бастьен Матра, присягнул, что будет говорить правду и только правду. Затем он дал следующее показание:

— Будучи 20 октября дежурным, я, около полудня, заметил на Монмартрской улице какого-то человека, повидимому уличного торговца, который незаконно остановился с своей тележкой против № 328, каковое обстоятельство вызвало скопление экипажей. Я ему троекратно приказал проезжать своей дорогой, но он отказался повиноваться. А когда я предупредил его, что составлю протокол, он крикнул мне: «Чтоб вам, скотам, околеть!», что я счел оскорблением себе.

Это твердое, сдержанное показание было выслушано судом с очевидным сочувствием. Защитой были вызваны, в качестве свидетелей, башмачница г-жа Баяр и господин Давид Матье, главный врач больницы Амбруаз Парэ, кавалер Почетного Легиона. Госпожа Баяр ничего не видала и не слышала. Доктор Матье находился в толпе, собравшейся вокруг полицейского, когда он приказывал торговцу не задерживаться. Его показание сопровождалось небольшим инцидентом.

— Я был свидетелем происшествия,—сказал он.—Я заметил, что полицейский ослушался, оскорбительного ничего не было сказано. Тогда я подошел к нему и обратил на это его внимание. Полицейский всетаки задержал Кренкебиля и предложил мне следовать за ним в участок. Я пошел и там повторил комиссару свое показание.

— Садитесь,—сказал председатель. — Пристав, введите

снова свидетеля Матра. — Матра, когда вы приступили к задержанию обвиняемого, сказал ли вам доктор Матье, что вы ослышались?

— То-есть, господин председатель, он меня оскорбил.

— Что же он вам сказал?

— Он мне сказал: «Чтоб вам, скотам, околеть!»

В публике поднялся шум и раздались смешки.

— Вы можете удалиться, — поспешно сказал председатель. Он предупредил публику, что если подобные неприличные выходки будут повторяться, он прикажет очистить зал. Защита победоносно потрясала рукавами своей мантии, и все в эту минуту считали, что Кренкебиль будет оправдан.

Когда снова водворилось спокойствие, встал адвокат Лемерль. Он начал свою защитительную речь с похвалы скромным служителям общества, которые, неся за ничтожное вознаграждение утомительную службу и подвергаясь постоянным опасностям, являют нам пример повседневного скромного героизма. «Все они — бывшие солдаты, они и остаются солдатами. Солдат — этим словом все сказано...»

Тут адвокат Лемерль с большой легкостью перенесся в область возвышенных рассуждений о воинской доблести. Он сам из числа тех людей, говорил он, «которые не позволяют затронуть армию, нашу национальную армию, к которой и он имеет честь принадлежать».

Председатель склонил голову.

Адвокат Лемерль, действительно, был поручиком запаса. К тому же он был кандидатом от националистов квартала Вейль-Годриетт. Он продолжал:

— Не мне, конечно, умалять те скромные, но бесценные услуги, которые ежедневно оказывают блюстители тишины населению Парижа. И я не решился бы, милостивые государи, взять на себя защиту Кренкебиля перед вами, если бы я считал его способным оскорбить старого солдата. Моего подзащитного обвиняют в том, что он сказал: «*Чтоб вам, скотам, околеть*». Смысл этих слов ясен. Разверните словарь жаргонных слов и вы там прочтете: «*Vachard* — лентяй, леже-

бока, — кто валяется как корова, вместо того, чтобы трудиться. *Vache*, — кто проданся полиции, шпион». *Чтоб вам, скотам, околеть* ¹⁾, говорится в некоторых слоях общества. Но все дело в том, в каком смысле употребил Кренкебиль это выражение? И даже употребил ли он его на самом деле? Позвольте мне, милостивые государи, в этом усомниться.

Я отнюдь не подозреваю полицейского Матра в недобросовестности. Но он, как мы уже говорили, несет тяжелую службу. Он зачастую бывает усталым, переутомленным, измученным. При этих условиях он легко мог оказаться жертвой своего рода галлюцинации слуха. А когда он утверждает перед вами, милостивые государи, что доктор Давид Матье, кавалер ордена Почетного Легиона, главный врач больницы Амбруаза Парэ, научное светило и благовоспитанный человек, крикнул ему: «*Чтоб вам, скотам, околеть*», мы вынуждены признать, что Матра одержим болезненной подозрительностью, а бы сказал даже — манией преследования.

И даже, если бы Кренкебиль действительно крикнул: «чтоб вам, скотам, околеть», следует еще выяснить — можно ли вменить ему в преступление эти слова. Кренкебиль — незаконнорожденный сын рыночной торговли, распутной бабы, пьяницы, он прирожденный алкоголик. Вот он перед вами, одуревший от 60-ти лет нищеты. Господа, вы должны признать, что он невменяем».

Адвокат Лемерль сел, а председатель Буриш сквозь зубы прочел приговор. Кренкебиль был присужден к двухнедельному тюремному заключению и 50-ти франкам штрафа. Суд в своем решении основывался на показаниях полицейского Матра.

Когда Кренкебиля повели по мрачным коридорам суда, в нем проснулась сильнейшая жажда участия. Он повернулся к солдату, сопровождавшему его, и три раза под ряд его окликнул:

— Служивый, служивый! А, служивый!

И вздохнул:

¹⁾ Mort aux vaches.

— Ох, не поверил бы я, скажи мне кто-нибудь всего две недели назад, что со мной станет такое...

Потом он высказал следующее соображение:

— Эти господа слишком скоро говорят. Складно говорят, да, слишком скоро, объяснить-то им всего никак и не успеешь. Служивый! правда, слишком скоро они говорят? А?

Но солдат шагнул, не отвечая и не поворачивая головы.

Кренкебиль спросил:

— Почему вы мне не отвечаете?

Солдат безмолвствовал. Тогда Кренкебиль с горечью сказал ему:

— Ведь и с собакой разговаривают, почему же вы со мной не хотите говорить? Вы и рта не разеваете, уж не воняет ли у вас из него?

4

Апология председателя Буриша

Когда приговор был прочитан, несколько любопытных и два-три адвоката вышли из зала суда, в то время, как секретарь вызывал стороны по следующему делу. Уходившие не обменивались никакими замечаниями по поводу дела Кренкебиля, оно не заинтересовало их, и они больше о нем не думали. Один только Жан Лермит, гравер по меди, случайно зашедший в суд, высказал несколько размышлений по поводу всего виденного и слышанного.

Взяв за плечо Жозефа Обарэ, он произнес:

— Председатель Буриш достоин похвалы за то, что сумел удержаться от суетной пытливости ума и уберечься от дерзкого стремления духа все знать. Сопоставляя противоречивые показания городского Матра и доктора Давида Матье, судья вступил бы на путь сомнений и колебаний. Метод критического исследования непримирим с правильным отправлением правосудия. Если бы судья имел неосторожность следовать

этому методу, его приговоры зависели бы от личной его прощательности, в большинстве случаев ничтожной, и от многочисленных слабостей человеческих. Какое значение имели бы подобные приговоры? Нельзя отрицать, что критический метод решительно непригоден к тому, чтобы доставить судье необходимую ему уверенность. Достаточно вспомнить случай, бывший с сэром Вальтером Ралей.

Однажды, когда сэр Вальтер Ралей, сидя в заключении в Лондонской башне, работал, по обыкновению, над второй частью своей «Мировой истории», под окном у него произошла драка. Он пошел посмотреть на дерущихся и, усевшись снова за работу, был уверен, что отлично заметил, как все происходило. Но на другой день, когда он заговорил об этом происшествии с приятелем, который тоже присутствовал там и даже сам принимал участие в драке, приятель во всем его опроверг. Тогда, задумавшись над тем, как трудно узнать истину о событиях отдаленных, если он мог ошибиться в том, что произошло у него перед глазами, он бросил в огонь рукопись своей истории.

Если бы судьи были так же щепетильны, как сэр Вальтер Ралей, им пришлось бы побросать в огонь все дела. На это они не имеют права. Такой поступок с их стороны был бы отрицанием суда, преступлением. Следует отказаться от познания, но нельзя отказываться от суда. Кто хочет, чтобы судебные приговоры опирались на систематическое расследование фактов—тот опасный софист и коварный враг гражданской и военной юстиции. Председатель Буриш обладает слишком юридическим умом, чтобы его приговоры зависели от науки, выводы которой можно оспаривать до бесконечности. В своих решениях он руководствуется догмой и опирается на традиции, так что они не уступают по обязательности церковным заповедям. Его приговоры каноничны. Я разумею под этим, что он извлекает их из некоторого количества священных канонов. Обратите внимание, например, на то, что он распределяет свидетельские показания не по сомнительным и обманчивым признакам наибольшей их вероятности и житейской

правды, а по некоторым неотъемлемым, неизменным и очевидным свойствам их. Он их оценивает как своего рода оружие. Может ли что-нибудь быть проще и в то же время разумнее? Он считает неоспоримым показание блюстителя порядка, взятого отвлеченно от его человеческих свойств и мыслимого метафизически, как номер служебного списка, соответственно категориям идеальной администрации. Не то, чтобы Матра (Бастьен), родом из Чинто-Монте (Корсика), казался ему непогрешимым. Он никогда не думал, чтобы Бастьен Матра был одарен выдающейся наблюдательностью, чтобы он применял к изучению событий метод точного исследования. По правде сказать, он понимает не Бастьена Матра, а полицейского № 64. Человеку свойственно ошибаться, думает он, Петр и Павел могут ошибиться. Декарт и Гассенди, Лейбниц и Ньютон, Биша и Клод Бернар могли ошибаться. Все мы постоянно ошибаемся. Поводы для наших заблуждений бесчисленны. Наши чувственные восприятия и наши умозаключения—являются источниками заблуждений и причинами сомнений. Не должно доверяться свидетельству одного человека: *Testis unus testis nullus*. Но можно поверить номеру. Бастьену Матра из Чинто-Монте свойственно ошибаться. Но полицейский № 64, взятый отвлеченно от его человеческих свойств, не ошибается. Это некая сущность. Сущность не имеет в себе ничего того, что есть в людях, что смущает, обольщает, обманывает их. Она чиста, неизменна, ясна. Вот почему суд, не колеблясь, отверг показания доктора Давида Матье, который является просто человеком, чтобы принять показания полицейского № 64, представляющего собой чистую идею, как бы божественный луч, воссиявший на суде.

Действуя таким образом, председатель Буриш обеспечивает себе известного рода непогрешимость, единственную, на какую может рассчитывать судья. Когда человек, дающий показания, вооружен мечом, нужно слушать меч, а не человека. Человеком можно пренебречь. Он может быть неправ. Не таков меч, и с ним надо считаться. Председатель Буриш глубоко проникся духом законов. Общество зиждется на силе, и силу должно ува-

жать, как могущественную основу общества. Правосудие есть применение силы. Председатель Буриш знает, что полицейский № 64 есть частица «Верховной власти». Суверен пребывает в каждом из своих чиновников. Нарушить авторитет полицейского № 64—значит ослабить государство. «С'есть хоть один лепесток артишока—значит есть артишок», как говорит Боссюэ своим божественным слогом (*Политика, на основании Св. Писания, passim*).

Мечи государства все обращены в одну сторону. Направляя их друг против друга, можно разрушить государство. Вот почему обвиняемый Кренкебиль был правильно приговорен к двум неделям тюремного заключения и 50 франкам штрафа на основании показания полицейского № 64. Мне кажется, я слышу, как сам председатель Буриш объясняет, какими возвышенными и прекрасными соображениями он вдохновлялся, произнося приговор. Мне кажется, будто он говорит так: «Я судил этого человека согласно с показанием полицейского № 64, потому что полицейский № 64 есть олицетворение государственной силы. И чтобы признать мою мудрость, вам достаточно представить себе, что я поступил наоборот. Вы сейчас же увидите, что это было бы нелепо. Ибо, еслибы мои решения были направлены против силы, то они не приводились бы в исполнение. Заметьте, господа, что судьям повинуются до тех пор, пока сила на их стороне. Без жандармов судья оказался бы жалким мечтателем. Я повредил бы самому себе, если бы признал неправым хоть одного жандарма. К тому же это противоречит духу законов. Обезоруживать сильных и давать оружие слабым,—да это было бы изменением социального строя, который я призван охранять! Правосудие—не что иное, как признание установившихся несправедливостей. Где это было видано, чтобы правосудие не стало на сторону завоевателей и противилось бы узурпаторам? Когда возвышается незаконная власть, достаточно ему признать ее, чтобы она стала законной. Все дело в форме, и гранью между преступлением и невинностью часто бывает только лист гербовой бумаги. Вам, Кренкебиль, следовало оказаться сильнее-

шим. Если бы, крикнув: «Чтоб вам, скотам, околеть», вы вслед затем добились провозглашения себя императором, диктатором, президентом Республики или хотя бы только муниципальным советником, поверьте, что я не приговорил бы вас к двум неделям заключения и 50 франкам штрафа. Я избавил бы вас от всякого наказания, можете быть в этом уверены».

Вот что, без сомнения, сказал бы председатель Буриш, ибо он обладает юридическим умом, и ему хорошо известны обязанности судьи перед обществом. Он правильно защищает его основы. Правосудие социально. Одни только легкомысленные люди могут желать, чтобы суд стал гуманным и отзывчивым. Для отправления правосудия нужны непоколебимые законы, а не порывы плоти или откровения духа. Главное, не требуйте от правосудия, чтобы оно было справедливым, правым — оно в этом не нуждается, ведь и без того оно *правосудие*, и даже, скажу я вам, самая мысль о справедливом правосудии может прийти в голову только анархисту. Правда, председатель Маньо выносит справедливые приговоры. Зато их кассируют, и это и есть правосудие.

Истинный судья оценивает показания как своего рода оружие. Мы видели это в деле Кренкебиля, а равно в других более громких делах.

Так говорил г-н Жан Лермит, расхаживая по зале.

Адвокат Жозеф Обарэ, хорошо знавший судей, ответил на это, почесывая кончик носа:

— Желаете знать мое мнение? Я не думаю, чтобы председатель Буриш заносился на такую метафизическую высоту. Мне кажется, что он признал показания полицейского № 64 выражением истины просто потому, что знал, что так же поступали все его предшественники. Причину большей части людских поступков следует искать в подражании. Следуйте обычаям, и вы прослывете честным человеком. Люди признают добродетельным того, кто поступает как все.

5

О том, как Кренкебиль покорился законам республики

Когда Кренкебиля отвели назад в тюрьму, он уселся на свою прикованную к стене табуретку, весь охваченный восторженным изумлением. Он и сам теперь был не совсем уверен, что судьи ошиблись. Слабые стороны суда были скрыты от него внешней величием. Ему казалось невозможным, чтобы прав был он, а не судьи, побуждений которых он не понимал: ему и в голову не могло прийти, чтобы не все было ладно в такой торжественной церемонии. Ибо, не бывая ни у обедни, ни в Елисейском дворце, он никогда в жизни не видал ничего прекраснее этого заседания суда. Он отлично знал, что не кричал: «Чтоб вам, скотам, околеть!» И то, что его приговорили к двухнедельному тюремному заключению за произнесение этих слов, представлялось ему великой тайной, одним из тех догматов веры, которые исповедуют верующие, не вникая в их смысл, таинственным откровением, ослепительным, внушающим благоговение и ужас.

Этот нищий старик признавал себя виновным в том, что мистически оскорбил полицейского № 64, точно также, как ребенок на уроке Закона Божия признает себя виновным в первородном грехе. Приговором над ним ему было преподано что он кричал: «Чтоб вам, скотам, околеть!». Значит, он и в самом деле крикнул: «Чтоб вам, скотам, околеть», но только чудесным, неведомым ему самому образом. Он очутился в мире сверхъестественного. Суд над ним стал апокалипсическим.

Не имея ясного представления о проступке, не имея он его и о возмездии. Приговор казался ему чем-то торжественным, священным и высшим, чем-то ослепительным, чего нельзя постигнуть, против чего нельзя спорить, чем, правда, нельзя величаться, но и жаловаться на что невозможно. Спустился к нему в эти минуты с разверстого потолка председатель

Бурниш с белыми крыльями и сияньем вокруг головы—он насколько бы не удивился такому новому доказательству судейской славы и только подумал бы: «Верно, дело мое все еще продолжается».

На другой день его пришел навестить защитник.

— Ну что, старина, как вы себя чувствуете? Не унывайте. И оглянуться не успеете, как пройдет две недели. Вы легко отделались.

— Да, нечего сказать, господа обошлись вежливо, ни одного дурного слова не слышал от них. Не поверил бы этому никогда. А служивый-то даже белые перчатки надел, заметили?

— В конце концов, хорошо вы сделали, что перестали запираяться, Кренкебиль, у меня для вас припасена хорошая новость. Один добрый человек, которому я о вас говорил, передал мне для вас 50 франков, они пойдут на уплату штрафа, к которому вы присуждены.

— Так когда же вы мне их отдадите, 50 франков-то?

— Они будут внесены в канцелярию, вы не беспокойтесь.

— Это все едино. Спасибо доброму человеку.

И Кренкебиль в раздумьи пробормотал:

— Удивительно, что со мной происходит.

— Не преувеличивайте, Кренкебиль. Случай ваш не редкость, далеко нет.

— Скажите вы мне, куда только они мою тележку девали?

Кренкебиль перед судом общественного мнения

Кренкебиль вышел из тюрьмы и снова принялся возить свою тележку по Монмартрской улице и кричать: «Репка, капуста, морковь!» Он не гордился своим приключением, но и

не стыдился его. Оно не оставило в нем тяжелых воспоминаний. Ему казалось, что все это было похоже на театральное представление, на путешествие, на сон. Особенное удовольствие доставляло ему, что под ногами опять, как прежде, была грязь, а над головой—мутное, серое, словно уличная лужа, небо, милое небо родного города. Он останавливался на каждом перекрестке, чтобы пропустить рюмочку, потом, весь охваченный радостным чувством свободы, поплеывая на мозолистые ладони, чтобы они легче скользили по ручкам, брался за тележку и пускался в путь, а промышлявшие себе пропитание на мостовой воробьи, так же спозаранку проснувшиеся, и такие же бедняки, как и он, всею разлетались от него по улице, слышав его обычный крик: «Репка, капуста, морковь!» Знакомая старушка-хозяйка, подходя к нему, стала расспрашивать, перебирая пучки сельдерея:

— Не приключилось ли с вами чего, дедушка Кренкебиль? Вот, кажется, уж три недели, как вас не видно. Не хворали ли вы? Вы и бледны стали?

— Нет, госпожа Мальош, я жил рantlye.

Все в его жизни осталось по-старому—только он стал чаще, чем прежде, завертывать в кабачок, так как ему все кажется, что праздник и что он свел знакомства с разными благодетелями. На чердак к себе он теперь возвращается немного навеселе. Растянувшись на перине, он прикрывается, вместо одеяла, пустыми мешками, которые одолжил ему сосед, торговец каштанами, и размышляет.—Тюрьма—что! на нее жаловаться нечего! Там все человеку дают, что нужно, ну, а дома-то все же лучше!

Однако, довольство его длилось не долго. Он скоро стал замечать, что покупательницы от него отворачиваются.

— Сельдерей отличный, госпожа Куэнтро!

— Ничего мне не надо.

— Как так ничего?! Не воздухом же вы питаетесь.

А госпожа Куэнтро, не отвечая ему ни слова, гордо уходила в свою просторную булочную. Лавочницы и привратницы,

которые прежде, бывало, так и толпились вокруг его зеленоющей и цветущей тележки, теперь и смотреть на него не хотели.

Дойдя до башмачной мастерской «Ангела-Хранителя» — места, с которого начались его судебные мытарства, он закричал:

— Госпожа Баяр, а госпожа Баяр, за вами 14 су с прошлого раза.

Но госпожа Баяр, сидевшая за кассой, не соблаговолила и головы повернуть.

Всей Монмартрской улице было известно, что дед Кренкебиль побывал в тюрьме, и вся Монмартрская улица не желала с ним знаться. Слух о том, что он судился, дошел до предместья и до шумного угла улицы Рише. Там-то он однажды в полдень застал давнишнюю, постоянную свою покупательницу, госпожу Лору, выбиравшую овощи в тележке Мартена. Она ощупывала большой кочан капусты. Солнце отливало золотом в ее пышно скрученных на затылке волосах. Мартен же, негодный малый, какая-то шушера, шантрапа, божился, положила руку на сердце, что ни у кого не найти такого товара. При виде этого сердце Кренкебиля облилось кровью. Он наехал на тележку Мартена и жалобным, дрожащим голосом сказал госпоже Лоре:

— Не хорошо с вашей стороны изменять мне.

Госпожа Лора, как она и сама признавала это, была не из герцогинь. Не в высшем свете научилась она понимать, что такое «салатная корзина» и тюрьма. Однако, в любом положении можно быть порядочным человеком, не правда ли? У каждого своя гордость, и кому приятно знаться с человеком, который только что вышел из тюрьмы. Вот она и ответила Кренкебилю так, словно ей и глядеть-то на него тошно. А старый разносчик, почувствовав унижение, завопил:

— Ишь, потаскушка!

Госпожа Лора даже капусту из рук выронила и крикнула:

— Убирайся к чорту, старая кляча, только что вышел из тюрьмы, а туда ж людей порочит!

Будь Кренкебиль в спокойном состоянии духа, он никогда

бы не попрекнул госпожу Лору ее ремеслом. Ему хорошо было известно, что в жизни не волен делать, что хочешь, ремесла выбирать не приходится, хороших же людей везде можно найти. У него было в обычае не интересоваться домашними делами своих покупателей, и он никакого не презирал. Но теперь он был выведен из себя. Он троекратно обругал госпожу Лору потаскухой, стервой, сволочью. Зеваки окружили их толпой, а Кренкебиль с госпожой Лорой все продолжали обмениваться такими же крепкими словами и готовы были ругаться, пока не иссяк бы поток их сквернословия, но внезапно перед ними вырос безмолвный и неподвижный полицейский, и оба они сразу сделались такими же, как он, немыми и неподвижными. Они разошлись. Но эта стычка окончательно погубила Кренкебиля в мнении Монмартрского предместья и улицы Рише.

7

Последствия

Старик шел и ворчал:

— Нечего сказать, хороша паскуда. Другой такой и не сыщешь.

Но не за это упрекал он ее в глубине души. Он не презирал ее за то, чем она стала. Он скорей уважал ее, зная, как она бережлива и домовита. Прежде они, бывало, охотно вступали в разговор. Она рассказывала ему о своих родителях, живущих где-то в деревне. И они сходились на одном общем желании: иметь свой огородик и разводить кур. Она была хорошей покупательницей. Поэтому, когда он увидел, что она покупает капусту у Мартена, негодного малого, какой-то шушеры, шантрапы, он словно почувствовал удар под ложечку, ну, а когда она еще отворотилась от него, тут уж он не стерпел, и пошло...

Но беда была в том, что не она одна стала обходиться с ним, как с последней собакой. Его больше никто не хотел знать.

Вслед за госпожой Лорой и булочница, госпожа Куэнтро, и госпожа Баяр, хозяйка сапожной лавки «Ангела-Хранителя», стали презрительно относиться к нему и чуждаться его. Словом, от него отвернулось все общество.

И на что же это было похоже! Что какие-то две недели отсидел в тюрьме, так уж не годен стал и порей продавать! Разве это справедливо? Где это видано, чтобы порядочному человеку пропадать с голоду за то, что не поладил с полицией! Раз ему не дают больше торговать, то ему остается только с голоду сдохнуть.

Нрав у него испортился, как плохо выдержанное вино. Посчитавшись с госпожой Лорой, он стал ссориться со всеми. Он теперь не давал спуска покупателям. Из-за пустяков он резал правду в глаза и уже не стеснялся в выражениях, нет! Чуть которая начнет перебирать товар, он уже обзывает ее просто-напросто треплом, либо шкурой, точно так же в кабаке приставал он к товарищам. Приятель его, торговец каштанами, узнать его не мог и говорил всем, что проклятый Кренкебиль стал чистым дикобразом. И, правду сказать, с ним теперь было трудно ужиться: он стал задирой, был дерзок на язык и отчаянно сквернословил. Дело в том, что он находил общественный строй несовершенным, а выразить свои взгляды на его недостатки и необходимые преобразования ему было не так легко, как профессору Школы политических и моральных наук, мысли в его голове не развивались с последовательной ясностью.

Несчастье делало его несправедливым. Он срывал злобу на тех, кто не желал ему зла, и, подчас, на беззащитных. Так, однажды он дал пощечину Альфонсу, сынишке кабатчика, за то, что тот спросил, хорошо ли ему сиделось в тюрьме. Он ударил его, приговаривая:

— Паршивец! Это твоему отцу следовало бы сидеть в тюрьме, вместо того, чтобы богатеть, отравляя народ своей водкой.

Ни поступок, ни слова эти не делали ему чести, ибо, как ему справедливо заметил торговец каштанами, не следует

бить ребенка и попрекать его отцом—отца, ведь, себе не выберешь.

Кренкебиль запьянствовал. Чем меньше он стал выручать, тем больше пил. Будучи в былые времена бережливым и воздержным, он сам дивился такой перемене.

— Я отроду не бывал пьяницей,—говорил он. — Должно быть, к старости глупеешь.

Порою он строго осуждал себя за дурное поведение и лень:

— Эх, Кренкебиль, старина, ни на что ты нынче стал негоден.

Порою же обманывал себя и внушал себе, что ему необходимо выпить.

— Надо иногда пропустить рюмочку-другую, чтобы набраться сил и освежиться. Горит внутри у меня. Только водочкой и спасаюсь.

Теперь часто случалось, что он опаздывал к утреннему подвозу овощей на центральном рынке и набирал залежавшийся товар, который ему отпускали в долг. Однажды, чувствуя с утра тоску на сердце и слабость в ногах, он оставил свою тележку в сарае и целый Божий день толочся вокруг лотка госпожи Розы, торговавшей рубцами, да заходил во все кабачки на рынке. Вечером, присев на пустую корзину, он задумался и ясно сознал свое падение. Он вспомнил свою былую силу, прежние труды, продолжительную усталость, удачные выручки, бесчисленные дни, все одинаковые, заполненные работой; вспомнил, как, бывало, ночью шагал взад и вперед перед центральным рынком, выжидая открытия торга; как уносил охапками овощи и раскладывал их искусно на тележке; как, торопливо проглотив на ходу чашку горячего черного кофе у тетки Теодоры, бодро брался за ручки тележки; как громким голосом, похожим на петушиный крик, оглашал утренний воздух; вспомнил, сколько исходил он людных улиц за свою честную, тяжкую жизнь, целые полвека, словно лошадь, развозя на своей тележке, изнемогшим от

бессонных ночей и забот, горожанам свежую жатву огородов. И, покачав головой, он вздохнул:

— Нет у меня той бодрости, что прежде! Кончено дело. Поводился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. Да, с тех пор как меня судили, нрав у меня изменился. Я уж стал не тот.

Одним словом, он развратился. Человек в подобном положении все равно, что тот, кто упал и не в силах встать. Всякий, кто мимо идет, топчет его.

8

Окончательные последствия

Настала нужда, жестокая нужда. У старого разносчика, приносившего прежде из Монмартрского предместья полный кошелек серебра, теперь не было ни копейки. Стояла зима. С чердака его прогнали, он ночевал под тележками в сарае. Но дождь шел почти целый месяц, сточные трубы переполнились, и сарай залило. В потемках, среди пауков, крыс и бродячих кошек он ежился в своей тележке над зловонной водой и раздумывал. Он с утра ничего не ел и даже мешков от торговца каштанами у него больше не было, чтобы прикрыться, и вот он вспомнил, как целых две недели государство кормило и одевало его. Он позавидовал судьбе арестантов, которых не мучает ни холод, ни голод, и ему пришла в голову такая мысль:

— Раз я знаю фортель, отчего же мне им не воспользоваться.

Он встал и вышел на улицу. Было не позднее 11 часов. Погода стояла скверная; было темно; падала холодная изморозь, пронизывавшая хуже дождя. Редкие прохожие жались к стенам.

Кренкебиль поровнялся с церковью св. Евстафия и свернул на Монмартрскую улицу. Она была совершенно пуста. Только

у входа в церковь, на тротуаре неподвижно стоял полицейский под самым газовым фонарем, в свете которого падал мелкий частый дождик. Полицейский подставлял дождю свой капюшон и казался окоченевшим, но, или свет ему был приятнее темноты, или он устал ходить, только он не отходил от фонаря и, быть может, видел в нем товарища, друга. Это трепещущее пламя было его единственным собеседником в ночном одиночестве. В его неподвижной фигуре было что-то нечеловеческое; отражение его сапог в мокром тротуаре, похожем на озеро, удлиняло его книзу и придавало ему издали сходство с чудовищным земноводным, наполовину высунувшимся из воды. Вблизи же, вооруженный и закутанный в плащ, он походил не то на монаха, не то на воина. Крупные черты его лица, казавшиеся еще крупнее в тени капюшона, были спокойны и печальны. У него были стриженные густые усы с проседью. Это был старый вахмистр, человек лет сорока.

Кренкебиль тихонько подошел к нему и нерешительным, слабым голосом произнес:

— «Чтоб вам, скотам, околеть»!

Затем стал ждать, какое впечатление произведут эти священные слова. Но ничего не произошло. Вахмистр продолжал стоять неподвижно и молча, скрестив руки под коротким плащом. Широко открытые глаза, блестящие в темноте, печально, зорко и презрительно смотрели на Кренкебиля.

Удивленный, но еще сохраняя остаток решимости, Кренкебиль пробормотал:

— Ведь это я вам говорю: «Чтобы вам, скотам, околеть»!

Настало долгое молчание. Моросил мелкий холодный дождь, и царила леденящая темнота. Наконец солдат сказал:

— Не следует так говорить. Верно вам говорю — не следует. В ваши годы пора бы это знать... Проходите своей дорогой.

— Что ж вы меня не забираете? — спросил Кренкебиль.

Солдат покачал покрытой мокрым капюшоном головой.

— Еслиб я стал забирать всякого пьяницу, который мелет вздор, так работы не обернуться бы. А какой от этого толк?

Подавленный этим величавым пренебрежением, Кренкебиль так и остался стоять посреди лужи и тупо молчал. Прежде чем уйти, он попробовал об'ясниться.

— Я не на ваш счет сказал: «Чтоб вам, скотам, околеть». Я и никого не хотел обижать. А так, я ради одной штуки это сказал.

Солдат ответил с суровой кротостью:

— Мало ли для чего вы это говорили, да не надо было говорить, потому что, когда человек исполняет свой долг и ему приходится многое вытерпеть, не должно его оскорблять вздорными словами... Снова говорю вам, проходите своей дорогой.

Кренкебиль поник головой и, размахивая руками, зашагал под дождем в темноту.



Георгу Брандесу

II

П Ю Т У А

1

— В детстве, этот сад,—сказал г. Бержере,—этот сад, который можно весь обойти в двадцать шагов, был для нас необытным миром, полным улыбок и страхов.

— Люсьен, ты помнишь Пютуа?—спросила Зое, уткнув нос в рукоделье и улыбаясь, по своей привычке, не раскрывая губ.

— Еще бы не помнить Пютуа!.. Изю всех лиц, прошедших перед моими глазами, когда я был ребенком, образ Пютуа остался всего яснее в моем воспоминании. Я помню все черты его лица, его характера. У него был остроконечный череп...

— Низкий лоб,—добавила m-lle Зое.

И брат с сестрой стали с забавной важностью, монотонным голосом попеременно перечислять приметы:

— Лоб низкий.

— Глаза разного цвета.

— Взгляд бегающий.

— Около глаз морщины.

— Скулы выдающиеся, красные и блестящие.

— Торчащие уши.

— Черты лица были лишены всякого выражения.

— Только руки, всегда в движении, выдавали его мысли.

— Худой, сутуловатый, с виду хилый, тщедушный...—В действительности он обладал недюжинной силой.

— Он легко сгибал пятифранковик между указательным и большим пальцем.

— Палец этот у него был огромный.

— Голос тягучий...

— Речь слащавая...

Вдруг г-н Бержере воскликнул:

— Зое, мы забыли «волосы желтые, растительность редкая». Начнем с начала.

Полина, с удивлением слушавшая их, спросила у отца и тетки, как они могли запомнить наизусть этот прозаический отрывок и почему они читают его, как акафист.

Г. Бержере ответил с важностью.

— Полина, все, только что слышанное тобою, есть священный, могу сказать, литургический текст в семействе Бержере. Подобаает передать его тебе, дабы он не погиб с теткой и со мною. Твой дедушка, дочь моя, твой дедушка Элуа Бержере, вовсе не склонный интересоваться глупостями, ценил этот отрывок в особенности за его происхождение. Он прозвал его «Анатомия Пютуа». Он часто говаривал, что в некоторых, отношениях он предпочитает анатомию Пютуа анатомии Каремепренана. Если описание, сделанное Ксеноманом, говорил он, учение и богаче редкими и ценными терминами, то описание Пютуа много превосходит его ясностью мысли и прозрачностью слога. Он был такого мнения, потому что доктор Ледубль из Тура еще не объяснял тогда тридцатой, тридцать первой и тридцать второй главы четвертой книги Рабелэ.

— Я ничего не понимаю,— сказала Полина.

— Это потому, что ты не знала Пютуа, дочка. Нужно тебе сказать, что Пютуа был у нас самым близким лицом в моем и тети Зои детстве. В доме твоего дедушки Бержере беспрестанно говорили о Пютуа. Всякому по очереди казалось, что он его видел.

Полина спросила:

— Что это за Пютуа?

Вместо ответа, г. Бержере принялся смеяться, и сестра его тоже засмеялась, не разжимая губ.

Полина переводила взор с одного на другого, она находила странным, что тетка ее смеется от чистого сердца, и еще страннее, что она смеется по тому же поводу, что и брат. Это, действительно, было необычайно, так как у брата и сестры был разный склад ума.

— Папа, скажи, что это за Пютуа? Раз ты хочешь, чтобы я его узнала, так скажи же мне.

— Пютуа был садовником, дочка. Сын почтенных земледельцев из Артуа, он завел в Сент-Омэре питомник. Но заказчики были им недовольны, и дела его шли плохо. Прекратив свое дело, он работал поденно. Те, кто его нанимал, не всегда могли им похвалиться.

При этих словах мадемуазель Бержере сказала, продолжая смеяться:

— Помнишь, Люсьен, когда отец не находил на письменном столе чего-нибудь: чернильницы, перьев, сургуча, ножиц, он говорил: «Наверное, здесь побывал Пютуа».

— Ах!—сказал г. Бержере:—у Пютуа была дурная слава.

— Это все?—спросила Полина.

— Нет, дочка, это не все. Пютуа был замечателен тем, что хоть он нам и был известен, близок, однако...

— ...его не существовало,—сказала Зое.

Г. Бержере с упреком взглянул на сестру.

— Ну, что ты сказала, Зое! Зачем так разрушать очарование? Пютуа не существовало? Смеешь ли ты это говорить, Зое? Зое, можешь ли ты это утверждать? Достаточно ли ты приняла во внимание условия и разновидности бытия, чтобы утверждать, что Пютуа совсем не существовало, что Пютуа никогда не было? Пютуа существовал, сестра. Но, правда, это было особенное существование.

— Я все меньше и меньше понимаю,—сказала Полина безнадежно.

— Сейчас истина станет тебе ясной, дочка. Знай, что Пютуа родился в зрелом возрасте. Я был еще ребенком, твоя тетка уже подростком. Мы жили в небольшом домике, в предместье Сент-Омэра. Наши родители вели там тихую

уединенную жизнь, пока их не отыскала одна старая дама по фамилии Корнуйе, жившая в пяти верстах от города в своем поместье Монплеизир и оказавшаяся двоюродной бабушкой моей матери. Она воспользовалась правом родства и потребовала, чтобы отец и мать наши каждое воскресенье приезжали в Монплеизир обедать; им бывало там чрезвычайно скучно. Она говорила, что старинный обычай обедать по воскресеньям у родственников очень почтенен и что только люди низкого происхождения не соблюдают его. Отец мой до слез скучал в Монплеизире. Жалко было смотреть на его отчаянье. Но г-жа Корнуйе не видела этого. Она ничего не видела. Мать моя была храбрее. Она страдала так же, как отец, может быть, даже еще больше, но улыбалась.

— Женщины созданы для страданий,—сказала Зое.

— Зое, все живущее на свете создано для страданий. Напрасно наши родители отказывались от этих роковых приглашений. Экипаж г-жи Корнуйе каждое воскресенье после полудня приезжал за ними. Приходилось ехать в Монплеизир; это была обязанность, уклоняться от которой строго запрещалось. Это был установленный порядок, нарушить который мог бы только мятеж. Наконец отец возмутился и дал слово не принимать больше ни одного приглашения г-жи Корнуйе, предоставив матери приискивать приличные предлоги и разнообразные поводы, к чему она была совершенно неспособна. Наша мать не умела притворяться.

— Скажи, Люсьен, что она не хотела. Она могла бы лгать, как и другие.

— И то сказать, когда у нее бывали подходящие предлоги, она их и выставляла, вместо того, чтобы выдумывать. Помнишь, сестра, как однажды за столом она сказала: «К счастью, у Зое коклюш, мы долго не будем ездить в Монплеизир».

— Это правда!—сказала Зое.

— Ты выздоровела, Зое. И вот, однажды г-жа Корнуйе приехала и говорит нашей матери: «Я надеюсь, крошка, что вы с вашим мужем приедете в воскресенье к обеду в Монпле-

зир». Мать, которой муж поручил привести г-же Корнуйе уважительную причину отказа, придумала в этой крайности предлог, которого не было на самом деле: «Очень жалею, сударыня, но это нам не удастся. В воскресенье я жду садовника».

При этих словах г-жа Корнуйе, посмотрела через стеклянные двери зала в запущенный палисадник, где бересклет и сирень, казалось, никогда не знали садового ножа и не должны были его знать.

— Вы ждете садовника? зачем?

— Чтобы поработать в саду.

И моя мать, невольно переведя глаза на этот квадрат нескошенной травы и одичавших растений, который она только что назвала садом, с ужасом увидела неправдоподобность своей выдумки.

— Этот человек,—сказала г-жа Корнуйе,—мог бы отлично прийти работать в вашем... саду в понедельник или во вторник. Да это было бы и лучше. В воскресенье не следует работать.

— Он всю неделю занят.

Я часто замечал, что самые нелепые и смешные доводы менее всего возбуждают возражений: они сбивают противника с толку. Г-жа Корнуйе настаивала гораздо менее, чем можно было ожидать от особы, столь не расположенной к уступкам. Поднявшись с кресла, она спросила:—Как зовут, крошка, вашего садовника?

— Пютуа,—ответила мать, не задумываясь.

Пютуа получил имя. С тех пор он существовал. Г-жа Корнуйе ушла, бормоча:—Пютуа. Кажется, я его знаю. Пютуа? Пютуа! я отлично его знаю. Только я не помню... Где он живет?

— Он работает поуденно. Когда он нужен, за ним посылают, туда, сюда.

— Я так и думала: бродяга, бездельник... пустой человек. Вы ему не доверяйте, крошка.

Отныне у Пютуа был характер.

2

Пришли г.г. Губэн и Жан Марто. Г. Бержере посвятил их в беседу:

— Мы говорили о том, как однажды моя мать произвела на свет садовника в Сент-Омэре и дала ему имя. С тех пор он стал проявлять себя разными поступками.

— Повторите, пожалуйста, дорогой учитель, — сказал г. Губэн, протирая пенснэ.

— Охотно, — ответил г. Бержере. — Садовника не было. Садовника не существовало. Мать сказала: «Я жду садовника». И вот, садовник появился. И стал действовать.

— Дорогой учитель, — спросил г. Губэн, — как же он действовал, раз его не существовало?

— У него было известное существование, — ответил г. Бержере.

— Вы хотите сказать, существование воображаемое, — пренебрежительно возразил г. Губэн.

— Разве воображаемое существование такой пустяк? — воскликнул учитель. — И разве мифические личности не могут оказывать влияние на людей? Поразмыслите над мифологией, г. Губэн, и вы заметите, что как раз не реальные, а воображаемые существа оказывают на души наиболее глубокое и длительное влияние. Всегда и повсюду существа, имеющие реальности не больше, чем Пютуа, внушали народам ненависть и любовь, ужас и надежду, толкали на преступления, принимали жертвы, создавали нравы и законы. Г. Губэн, поразмыслите над вечной мифологией. Согласен, что Пютуа принадлежит к разряду мифических существ самых малоизвестных, самых мелких. Грубый сатир, сидевший некогда за столом наших северных крестьян, был сочтен достойным воспроизведения на картине Иорданса и в басне Лафонтена. Косматый сын Сикораксы попал в возвышенный мир Шекспира. Пютуа не такой счастливый, всегда будет презрен артистами и поэтами. Ему не хватает величия, необычайности стиля и

характера. Он зародился в слишком рассудительных умах средних людей, умеющих читать и писать и лишенных того очаровательного воображения, которое сеет басни. Думаю, господа, что я сказал достаточно, чтобы дать вам понятие об истинной природе Пютуа.

— Я понимаю ее, — ответил г. Губэн.

И г. Бержере продолжал свою речь:

— Пютуа существовал. Я могу это утверждать. Он существовал. Взгляните, господа, и вы убедитесь, что понятие бытия отнюдь не заключает в себе понятия субстанции, а обозначает только связь атрибута с суб'ектом, выражает только отношения.

— Конечно, — сказал Жан Марто, — но существовать без атрибутов — это быть почти что ничем. Не помню уже, кто сказал когда-то: «Я тот, кто существует». Простите мне недостаток памяти. Всего не запомнишь. Но неизвестный, выразившийся таким образом, поступил на редкость неосторожно. Давая понять этой необдуманной речью, что он лишен свойств и всяких соотношений, он объявил себя несуществующим и сам себя легкомысленно упразднил. Бьюсь об заклад, что после этого о нем не было слышно.

— Вы проиграли, — возразил г. Бержере. — Он исправил дурные последствия этих эгоистических слов, применив к себе кучу прилагательных, и о нем много говорили, по большей части без всякого толка.

— Я не понимаю, — произнес г. Губэн.

— Нет необходимости, понимать, — ответил Жан Марто.

И он попросил г-на Бержере рассказать о Пютуа.

— Очень любезно с вашей стороны, что вы меня просите об этом, — сказал учитель.

— Пютуа родился во второй половине XIX века, в Сент-Омэре. Лучше бы ему было родиться несколькими веками раньше в Арденском или Броселанском лесу. Он был бы тогда удивительно ловким злым духом.

— Г. Губэн, чашку чая, — сказала Полина.

— Разве Пютуа был злым духом? — спросил Жан Марто.

— Он был злым,—ответил г. Бержере,—он был им до некоторой степени, но совершенно злым не был. С ним было то же, что с дьяволами, которых считают очень злыми, но в которых при ближайшем знакомстве открывают не мало добрых качеств. Я склонен полагать, что к Пютуа были несправедливы. Г-жа Корнуйе, предубежденная против него, сразу же заподозревшая, что он бездельник, пьяница и вор, подумала, что, раз моя мать, будучи небогатой, его нанимает, значит, он довольствуется малым, и ей пришлось в голову, не предпочесть ли его своему садовнику, у которого слава была лучше, зато и требования больше. Было время подстригать тис. Она подумала, что если небогатая г-жа Элоя Бержере дает Пютуа гроши, то сама она, будучи богатой, может давать еще меньше, раз таков обычай, чтобы богатые платили дешевле бедных. И она уже представляла себе свой тис подстриженным без больших затрат—в виде стен, шарами и пирамидами.—Я уж послежу—говорила она про себя,—чтобы Пютуа не лентяйничал и не обокрал меня. Я ничем не рискую, и будет выгода. Эти бродяги иногда работают ловчее, чем честные рабочие.

Она решила сделать опыт и сказала своей матери:

— Крошка, пошлите ко мне Пютуа, я дам ему работу в Монплезире. — Моя мать обещала. Она охотно сделала бы это. Но, право, это было невозможно. Г-жа Корнуйе ждала Пютуа, ждала его напрасно. Она была последовательна в мыслях и постоянна в своих планах. При ближайшем свидании с своей матерью она ей посетовала, что о Пютуа ни слуху, ни духу.—Крошка, верно вы ему не сказали, что я его жду?—Я говорила, но он со странностями, с причудами...—О, я знаю такие характеры. Я наизусть знаю вашего Пютуа. Но нет таких шальных рабочих, которые отказались бы от работы в Монплезире. Я думаю, мой дом известен. Пютуа будет к моим услугам, и скорехонько, крошка. Скажите только, где он живет, я сама съезжу за ним.—Моя мать ответила, что не знает, где живет Пютуа, что его местопребывание неизвестно, что у него ни кола, ни двора. — Я его с тех пор не видала. Я думаю, он скрывается.—Можно ли было ответить лучше?

Г-жа Корнуйе, однако, слушала недоверчиво; она заподозрила, что ее обманывают относительно Пютуа, что его прячут, боясь его потерять, или набить ему цену. И она сочла ее эгоисткой. Многие суждения общепринятые, освященные историей, обоснованы не лучше.

— Однако, это верно,—заметила Полина.

-- Что верно?—спросила Зое в полудремоте.

— Что суждения истории часто неверны. Я помню, папа, как ты однажды сказал: «Со стороны г-жи Ролан было большою наивностью апеллировать к беспристрастности потомства и не замечать, что, если ее современники были скверными обезьянами, то их потомство тоже будет состоять из скверных обезьян».

— Полина,—строго спросила мадемуазель Зое,—какое отношение к истории Пютуа имеют твои слова?

— Очень большое, тетя.

— Я не улавливаю этого.

Г. Бержере, не враг отступлений, ответил дочери:—Если бы все несправедливости были, в конце концов, заглажены в этом мире, никогда бы не выдумали другого мира. Как вы хотите, чтобы потомство справедливо судило обо всех умерших? Как снимать с них показания во мраке, куда они ускользают? Когда является возможность быть справедливыми по отношению к ним, их уже забыли. Да и можно ли быть справедливым? И что такое справедливость? Г-жа Корнуйе, по крайней мере, принуждена была, в конце концов, признаться, что матушка ее не обманывала и что Пютуа невозможно было найти.

Однако, она не отказалась от мысли его отыскать. Она спрашивала у всех родственников, друзей, соседей, прислуги, поставщиков, не знают ли они Пютуа. Только двое или трое ответили, что никогда о нем не слышали. По большей части, им казалось, что они встречались с ним.—Я слышала это имя, но не припомню его внешнего вида,—сказала кухарка.—Пютуа,—я отлично его знаю,—сказал сторож, почесывая за ухом.—Но не сумею вам сказать, кто он такой.—Самые точные све-

дения дал г. Блэз, регистратор объявивший, что он нанимал Пютуа для рубки дров у себя на дворе, с 19 по 23 октября, в год кометы.

Однажды утром г-жа Корнуйе, захихавшись, ввалилась в батюшкин кабинет.—Я только что видела Пютуа.—Гм!—Я видела его.—В самом деле?—Я уверена в этом. Он шел вдоль забора г-на Таншана. Потом повернул в улицу Абесс; он шел быстро; я потеряла его из виду.—Да он ли это был?—Ну, конечно. Лет пятидесяти, худой, сутуловатый, вид бродяги, грязная блуза.—Действительно,—сказал отец,—эти приметы, пожалуй, подходят к Пютуа.—Вот видите! Да кроме того, я его окликнула. Я закричала «Пютуа», он обернулся.—Это прием,—сказал отец,—который употребляют сыщики, чтобы убедиться в подлинности злоумышленников, которых они разыскивают.—Ага! я вам говорю, что это он... Отыскала-таки вашего Пютуа. Ну, вид у него подозрительный. Вы и ваша жена очень неблагоразумно поступали, нанимая его на работу. Я знаю толк в лицах и хоть видела его только в спину, но дам присягу, что он—вор, а, может быть, и убийца. У него торчащие уши,—это верный признак.—Вы заметили, что у него торчащие уши?—Я все вижу. Дорогой г. Бержере, если вы не хотите быть убитым вместе с женой и детьми, не пускайте больше к себе Пютуа. И советую вам переменить все замки.

И вот, через несколько дней случилось, что у г-жи Корнуйе украли с огорода три дыни. Так как вора не нашли, она заподозрила Пютуа. В Монплезир была вызвана полиция, и ее розыски подтвердили подозрения г-жи Корнуйе. Шайки мародеров в то время опустошали окрестные сады. Но на этот раз кража казалась совершенной одним лицом с удивительной ловкостью. Никаких признаков взлома, ни следа сапога на влажной земле. Только Пютуа мог быть этим вором. Таково было мнение унтера, знавшего повадки Пютуа и хвалившегося, что попадется эта птица ему в руки.

«Сент-Омэрская газета» посвятила статью трем дыням г-жи Корнуйе и обнародовала по городским источникам опи-

сание Пютуа. «У него, говорилось в газете, низкий лоб, разноцветные глаза, бегающий взгляд, морщинки на висках, выдающиеся скулы, красные и лоснящиеся. Уши торчат. Худой, сутуловатый, с виду хилый, в действительности он обладает редкой силой,—легко сгибает монету в сто су между указательным и большим пальцами».

«Имеются все основания, утверждала газета, приписывать ему длинный ряд краж, совершенных с удивительной ловкостью».

Весь город был занят Пютуа. Однажды разнесся слух, что он арестован и посажен в тюрьму. Но вскоре узнали, что человек, которого приняли за него, был продавец календарей по имени Ригабер. Так как против него не могли найти никаких улик, его отпустили, продержав четырнадцать месяцев в предварительном заключении. А Пютуа попрежнему был неуловим. Г-жа Корнуйе стала жертвой новой кражи, еще более дерзкой, чем первая. Из буфета стащили три серебряные чайные ложечки.

Она догадалась, что это дело рук Пютуа, велела приделать цепочку на дверь в своей комнате и перестала спать.

3

Около десяти часов вечера, когда Полина ушла к себе в комнату, мадемуазель Бержере сказала брату:

— Не забудь рассказать, как Пютуа соблазнил кухарку г-жи Корнуйе.

— Я думал об этом,—ответил г. Бержере.—Пропустить это, значило бы лишиться эту историю лучшего эпизода. Но все следует делать по порядку. Полиция тщательно разыскивала Пютуа и не находила. Когда узнали, что его не могут найти, все из самолюбия принялись за розыски; хитрым людям это удавалось. А так как хитрых людей не мало в Сент-Омэре и окрестностях, то Пютуа видели одновременно на улицах, в полях и лесах. Таким образом прибавилась еще черта к его характеру. Ему приписали дар вездесущия, которым

обладают многие народные герои. Существо, имеющее способность в одну минуту переноситься на большие расстояния, и внезапно появляющееся там, где его менее всего ждали, справедливо вызывает страх. Пютуа навел ужас на Сент-Омэр. Г-жа Корнуйе, уверенная, что Пютуа украл у нее три дыни и три чайных ложки, жила в страхе, запершись в Мон-плезиере. Засовы, решетки, замки ее не успокаивали. Она считала Пютуа ужасно юрким, способным проникать сквозь двери. Одно домашнее событие удвоило ее страх. Ее кухарку соблазнили; пришло время, когда она уже не могла скрывать своего проступка. Но она упрямо отказывалась назвать своего соблазнителя.

— Ее звали Гудулой,—вставила мадемуазель Зое.

— Ее звали Гудулой, и считалось, что она застрахована от любовных опасностей длинной раздвоенной бородой, росшей у нее на подбородке. Внезапно выросшая борода стала защитой девства святой королевы, почитаемой в Праге. Но и давнишней бороде не удалось защитить добродетель Гудулы. Г-жа Корнуйе добивалась, чтобы Гудула назвала человека, соблазнившего ее и потом бросившего в тягости. Гудула заливалась слезами и молчала. Просьбы, угрозы не произвели никакого действия. Г-жа Корнуйе предприняла долгий и обстоятельный розыск. Она ловко расспрашивала соседей, соседок и поставщиков, садовника, сторожа, жандармов; ничто не помогало ей напасть на след виновного. Она снова попыталась добиться от Гудулы полного признания. «В ваших же интересах, Гудула, скажите мне, кто это такой». Гудула продолжала молчать. Вдруг г-жу Корнуйе озарило. «Это Пютуа!». Кухарка плакала и не отвечала. «Это Пютуа! Как я сразу не догадалась! Это Пютуа. Несчастная! Несчастная! Несчастная!»

И г-жа Корнуйе была уверена, что Пютуа сделал ребенка ее кухарке. Все в Сент-Омэре, от председателя суда до фонарщика, знали Гудулу с ее корзиной. При известии, что Пютуа соблазнил Гудулу, город исполнился удивления, восхищения и веселья. Пютуа прославляли как молодчагу и любовника одиннадцати тысяч дев. По незначительным призна-

кам ему же приписали происхождение пяти или шести других младенцев, которые появились на свет в этом году и которые отлично могли бы и не появляться в виду ожидавших их удовольствий, и радости, которую они доставляли своим матерям. Указывали, между прочими, на служанку г. Марешаля, торговца под вывеской «Свиданье рыбаков», на булочницу и на маленькую горбунью с Пон-Биприе,—все они были увлечены Пютуа и обзавелись ребятами. «Вот чудовище!», восклицали кумушки.

И Пютуа, невидимый сатир, угрожал непоправимым несчастьем всем молодым девушкам города, где, по словам старых людей, с незапамятных времен они жили спокойно.

Постоянно появляясь таким образом в городе и его окрестностях, он продолжал быть связанным с нашим домом тысячами тонких нитей. Он проходил мимо наших ворот и, кажется, иногда перелезал к нам в сад. В лицо его никогда не видали. Но каждую минуту мы чувствовали его тень, голос, следы. Не раз в сумерках, на повороте дороги мы видели его спину. В обществе моем и моей сестры его характер несколько менялся. Он продолжал оставаться дурным и злобным, но делался ребячливым и очень наивным. Он становился менее реальным и, смею сказать, более поэтичным. Он попадал в невинный круг детских традиций. Он обращался в буку, в бяку, в песочного человека, который по вечерам закрывает глаза маленьким детям. Это не был домовый, что по ночам в конюшне спутывает гривы жеребят. Не столь по-деревенски очаровательный, но такой же просто-душно резвый, он навел чернилами усы сестриним куклам. В кроватках, перед тем, как уснуть, мы слышали его: он мяукал с кошками на крыше, лаял с собаками, наполнял жалобными голосами птичник и подражал песням запоздалых гуляк на улице.

Что делало для нас Пютуа живым и близким, что возбуждало наш интерес к нему,—это то, что воспоминание о нем связывалось со всеми окружающими нас предметами. Куклы Зои, мои классные тетрадки, столько раз перепутанные и замазанные им, садовая стена, над которой однажды в тем

ноте мы заметили его блестящие, красные глаза, голубой фаянсовый горшок, который он разбил в одну зимнюю ночь,—если только горшок этот не лопнул от мороза,—деревья, улицы, скамейки—все нам напоминало Пютуа, нашего Пютуа, детского Пютуа, существо близкое и мифическое. По грации и поэтичности он не мог равняться с самым тяжеловесным лучшим, с самым неповоротливым из сатиров Сицилии или Фессалии. Но всетаки это был полубог.

В глазах нашего отца у него был совсем другой характер: эмблематичный и философский. Наш отец относился к людям с большим состраданием. Он считал их не слишком рассудительными; их заблуждения, когда они не были жестокими, забавляли его и вызывали улыбку. Вера в Пютуа интересовала его, как образчик, как компендиум человеческих верований вообще.

Иронический и насмешливый, он говорил о Пютуа, как о существе реальном. Иногда он вкладывал в свои слова столько настойчивости и отмечал различные обстоятельства с такою точностью, что моя мать приходила в чрезвычайное изумление и простодушно говорила ему: «Можно подумать, что ты говоришь серьезно, друг мой, однако, ты же хорошо знаешь, что...»

Он с важностью отвечал: «Весь Сент-Омэр верит в существование Пютуа. Отрицая его, буду ли я хорошим гражданином? Нужно не раз подумать, прежде чем отменять какой-нибудь пункт общих верований».

Только вполне честный ум способен на подобную щепетильность. В глубине души, отец был последователь Гассенди¹⁾. Он согласовал свои субъективные чувства с чувствами общества, веря, как и все сент'омеровцы в существование Пютуа, но не допуская непосредственного его участия в краже дынь и в совращении кухарок. Словом, он исповедывал веру в существование Пютуа, чтобы быть хо-

¹⁾ Пьер Гассенди (1592—1655) знаменитый материалист и свободомыслящий философ.

рошим сент'омеровцем, но обходился без Пютуа, когда об'яснял события, происходившие в городе. Так что и в этом случае, как и во всех других, он являлся человеком умным и благовоспитанным.

Что касается матушки, она упрекала себя немного за появление на свет Пютуа, и не без оснований. Потому что, в конце-то концов, Пютуа произошел от выдумки нашей матушки, как Калибан от выдумки поэта. Конечно, эти проступки не равны, и моя мать была не так виновна, как Шекспир. Однако, она была в ужасе и смятении, видя, что ее крохотная ложь безмерно разрослась, что легкий обман имел такой чудесный успех, который все рос и рос, распространился по всему городу и угрожал распространиться по целому свету. Однажды она даже побледнела, вообразив, что созданный ею образ предстанет сейчас перед нею. В этот день служанка, человек новый у нас и в городе, доложила ей, что ее спрашивает какой-то мужчина. Ему, говорит, нужно поговорить с барыней.—Что за человек?—Мужчина в блузе, похож на деревенского работника.—Сказал он, как его зовут?—Так точно.—Как же его зовут?—Пютуа.—Он сказал, что его зовут...—Пютуа, да, сударыня.—Он здесь?—Да, сударыня. Ждет на кухне.—Вы его видели?—Да, сударыня.—Что же ему нужно?—Он не сказал мне этого. Он только барыне хочет сказать.—Спросите у него.

Когда служанка вернулась на кухню, Пютуа там уже не было. Эта встреча новой прислуги с Пютуа так никогда и не была выяснена. Но мне кажется, что с этого дня матушка начала верить, что Пютуа, пожалуй, и вправду существует, что она, может быть, и не солгала.

III РИКЕ

Когда настал срок контракта, г. Бержере с сестрой и дочерью покинули старый развалившийся дом на улице Сены, чтобы устроиться в современной квартире на улице Вожирар. Так решили Зоэ и судьба. Во время долгих часов укладки и сборов Рике печально бродил по опустошенному жилищу. Самые дорогие ему привычки были нарушены. Неизвестные люди, плохо одетые, грубые и свирепые, смущали его покой, забирались даже в кухню, опрокидывая ногами его тарелку с тюрей и чашку со свежей водой. У него отнимали стулья, как только он на них укладывался, ковры грубо вытаскивали из-под его бедного зада, который, в собственном доме, не знал, где приютиться.

Скажем к чести Рике, что сначала он пробовал сопротивляться. Как только начали уносить умывальник, он принялся неистово лаять на врага. Но на его лай никто не пришел. Он не только не чувствовал поощрения, но даже его, несомненно, останавливали. Мадемуазель Зоэ сухо сказала ему: «Да замолчи!» А мадемуазель Полина прибавила: „Какой ты, Рике, смешной“.

Отказавшись от тщетных предупреждений и от одинокой борьбы за общее благо, он молча оплакивал разрушение дома и, переходя из комнаты в комнату, тщетно искал хоть немного покоя. Когда перевозчики проникали в комнату, где он скрывался, он благоразумно прятался под стол, под комод, которые еще были на месте. Но эта предосторожность оказывалась для него скорей вредной, так как вскоре мебель начи-

нала колебаться над ним, приподымалась, снова с грохотом опускалась, грозя его раздавить. Ощетинившись, он без памяти убегал, забираясь в другое пристанище, столь же ненадежное, как и первое.

Но эти неудобства, даже опасности, были ничто по сравнению со страданиями, какие испытывало его сердце. Как говорится, он был более всего удручен нравственно.

Для него мебель и утварь в квартире представляли из себя не косные вещи, а одушевленные и благорасположенные существа, добрых гениев, отбытие которых предвещало жестокие несчастья: блюда, сахарницы, сковороды и кастрюли, все кухонные божества; кресла, ковры, подушки, эти фетиши домашнего очага, его лары и боги—уходили. Он не верил, чтобы такое несчастье можно было когда-либо поправить. И он чувствовал от этого все горе, какое только могла вместить его маленькая душа. К счастью, подобно душе человеческой, она быстро забывала несчастья, и развлечь ее было не трудно.

Во время долгих отлучек томимых жаждой перевозчиков, когда метла старой Анжелики подымала с паркета давнишнюю пыль, Рике вдыхал запах мышей, следил, как убегает паук, и его резвая мысль была этим развлечена. Но скоро он вновь погружался в печаль.

В день отъезда, видя, что дела идут все хуже и хуже, он впал в отчаяние. Особенно зловещим казалось ему, что белее запихивают в темные сундуки. Полина с радостной поспешностью укладывала свои платья в чемодан. Он отвернулся от нее, будто она совершала что-то нехорошее. Прижавшись к стене, он думал: «Вот и самое плохое! это — конец всему». То ли он думал, что вещи перестают существовать, когда он их не видит, то ли просто избегал тягостного зрелища, но он старался не смотреть в сторону Полины. Случаю угодно было, чтобы, расхаживая взад и вперед, она заметила позу Рике. Поза была печальна. Она нашла ее забавной и принялась смеяться. Смеясь, она позвала его: «Поди, Рике, поди сюда». Но он не двинулся из своего угла, не повернул головы. В эту

минуту у него не лежало сердце приласкаться к молодой хозяйке и по тайному инстинкту, роду предчувствия, он боялся приблизиться к зияющему чемодану. Она звала его несколько раз. Так как он не отзывался, она подошла к нему и взяла его на руки. «Как мы несчастны!—сказала она ему,—какие мы жалкие». Тон ее был иронический. Рике не понимал иронии. Он оставался на руках у Полины неподвижным и мрачным и делал вид, будто ничего не видит и не слышит. «Рике, посмотри же на меня!» Она три раза повторяла этот укоризненный призыв, и все три раза тщетно. Тогда, представившись страшно разгневанной, она воскликнула: «Исчезни же, глупое животное!», бросила его в чемодан, и захлопнула крышку. В эту минуту ее позвала тетка; Полина вышла из комнаты, оставив Рике в чемодане.

Им овладело живейшее беспокойство. Он далек был от предположения, что его поместили в этот чемодан просто из шалости. Полагая, что его положение и так уж довольно незавидное, он постарался не отягощать его своей неосторожностью. И несколько минут он лежал неподвижно, не дыша. Потом он счел за благо обследовать свою мрачную темницу. Он щупал лапками юбки и рубашки, на которые его так унижительно швырнули, и стал искать лазейки, чтобы выйти из этого опасного места. Он был занят этим минутами две-три, когда г. Бержере, собираясь уходить, позвал его.

— Пойдем, Рике, пойдем. Пойдем погуляем по набережной. Славное место. Там выстроили в высшей степени уродливый вокзал, вопиюще безобразный. Зодчество погибло. Ломают дом на углу улицы дю-Бак, очень приятный с виду. Заменят его наверное какой-нибудь гадкой постройкой. Хоть бы не вводили наши архитектора, по крайней мере, на набережную д'Орсэ, варварский стиль, ужасный образец которого они дали на авеню Елисейских полей—угол улицы Вашингтон... Идем, Рике... Погуляем по набережной. Славное место. Но зодчество очень пало со времени Габриэля и Луи¹⁾...

¹⁾ Знаменитые архитекторы 18 века; им принадлежит ряд выдающихся построек в Париже.

Да где же собака? Рике, Рике!

Голос г. Бержере ободрял Рике. В ответ он без памяти заскреб лапками по ивовым стенкам чемодана.

— Где же собака,—спрашивал г. Бержере у Полины, возвращавшейся с грудой белья.

— Папа, Рике в чемодане.

— Как в чемодане, и почему?—спросил г. Бержере.

— Потому что он глуп,—отвечала Полина.

Г. Бержере освободил своего друга. Рике, помахивая хвостом, побежал за ним в переднюю. Как вдруг у него мелькнула одна мысль. Он вернулся в комнату, подбежал к Полине и встал у ее юбок на задние лапки. И лишь бурно к ним приложившись в знак своего обожания, догнал хозяина на лестнице. Ему казалось бы недостатком благодарности и набожности не выказать этих знаков любви особе, чье могущество повергло его в глубокий чемодан.

На улице г. Бержере со своей собакой увидели плачевное зрелище; на тротуаре стояла их домашняя обстановка. Покуда перевозчики ходили выпить в погребок на угол, в зеркальном шкапу мадемуазель Зоэ отражался ряд прохожих,—рабочие, ученики академии художеств, девицы, торговцы и дроги, пролетки и платформы, и аптека с ее бутылками и змеями эскулапа. Прислоненный к тумбе, г. Бержере-отец, в вихрастой прическе, улыбался из рамы с кротостью и бледным лукавством. Г. Бержере посмотрел на своего отца с сердечной почтительностью и убрал его от тумбы. Отодвинул он в сторону для безопасности и столик Зоэ, который, казалось, стыдился, что стоит на улице.

Между тем, Рике царапался о ноги своего хозяина, подняв на него свои прекрасные, опечаленные глаза, и взгляд его говорил: «Или ты обеднел, некогда такой богатый и могущественный? Или ты сделался слабым, о мой хозяин? Ты позволяешь гнусным оборванцам входить в твою гостиную, спальню, столовую, бросаться на твою мебель, тащить ее вон, вытаскивать на лестницу твое глубокое кресло, твое кресло и мое,

кресло, где по вечерам, а, случалось, и утром, мы отдыхали друг подле друга. Я слышал, как скрипело в руках оборванцев это кресло, а оно—великий фетиш и благодатный дух. Ты не воспротивился этим погромщикам. Если у тебя больше нет ни одного из тех гениев, что наполняли твоё жилище, если ты потерял даже те маленькие божества, которые надевал на ноги по утрам, вставая с постели, эти туфли, которые я покупывал, играя, если ты стал жалок и нищ, то что же будет со мною, о мой господин?»



IV

МЫСЛИ РИКЕ

1

Люди, животные, камни увеличиваются по мере приближения и делаются огромными, находясь прямо надо мною. Я—нет. Я всегда одинаковой величины, где бы я ни был.

2

Когда хозяин под столом протягивает мне пищу, которую сейчас же положит себе в рот, он делает это для того, чтобы меня соблазнить и наказать, если я поддамся соблазну. Не могу же я поверить, что он лишает себя чего-нибудь ради меня.

3

Запах псины восхитителен.

4

Хозяин греет меня, когда я лежу в кресле у него за спиною. Это происходит оттого, что он бог. Перед камином—кафельный пол, который нагревается. Эти кафли тоже божественны.

5

Я говорю, когда хочу. Из уст моего хозяина тоже исходят звуки, образующие смысл. Но этот смысл менее понятен, чем

то, что выражаю я звуками своего голоса. В моих устах все имеет смысл. В устах хозяина многие звуки—без смысла, попусту. Трудно и необходимо угадывать мысль хозяина.

6

Когда ешь — хорошо, когда поел — еще лучше. Ибо враг, следящий за вами, чтобы отнять вашу пищу, быстр и хитер.

7

Все проходит и сменяется одно другим. Я один остаюсь, как прежде.

8

Я всегда нахожусь в центре всего: люди, животные, вещи враждебные или благосклонные, сгруппированы вокруг меня.

9

Во сне видишь людей, собак, дома, деревья, милые или ужасные образы. А проснешься—эти образы уже исчезли.

10

Размышление. Я люблю хозяина моего, Бержере, потому что он могуч и ужасен.

11

Поступок, за который вас побили, дурной поступок. Поступок, за который приласкали или накормили, хороший поступок.

12

С наступлением ночи злые силы бродят вокруг дома. Я лаю, чтобы предупрежденный хозяин прогнал их.

13

Молитва. О, господин мой, Бержере, бог истребления, тебе поклоняюсь! Ужасный, будь прославлен! Будь прославлен! Благосклонный. Я пресмыкаюсь у ног твоих, лижу твои руки. Ты велик и прекрасен, когда за накрытым столом ты пожираешь обильные мяса. Ты велик и прекрасен, когда слабым треском дерева производишь пламя и ночь превращаешь в день. Оставь меня у себя в доме, не бери других собак. А ты, кухарка Анжелика, добрейшее и величайшее божество, я боюсь тебя и чту, чтобы ты мне давала побольше есть.

14

Собака, не испытывающая благоговения перед людьми и презирающая фетиши, собранные в хозяйском доме, ведет бродячую и жалкую жизнь.

15

Однажды дырявый кувшин, наполненный водою, когда его проносили через гостиную, оставил лужу на натертом паркете. Я думаю, что этот нечистоплотный кувшин высекли.

16

Люди обладают божественною властью отворять любые двери. Я собственными силами могу открыть только очень небольшое количество их. Двери—великие фетиши, неохотно повинующиеся собакам.

17

Собачья жизнь полна опасностей. Чтобы избежать страданий, нужно быть настороже, во время еды и даже во время сна.

18

Никогда не знаешь, хорошо ли поступил по отношению к людям. Их нужно боготворить, не пытаясь их понять. Их мудрость таинственна.

19

Воззвание. О, страх, священный и материнский страх! Святой и спасительный страх, проникни в меня, наполни меня в минуту опасности, дабы я избегал того, что могло бы мне повредить: я боюсь, чтобы, бросившись на врага, я не пострадал от своей неосторожности.

20

Есть экипажи, которые возят по улицам лошади. Они ужасны. Есть экипажи, которые ездят сами по себе, одни, сильно пыхтя. Они тоже исполнены злобного духа. Оборванцы достойны ненависти, так же как и те люди, которые несут корзины на голове или катят бочки. Я не люблю детей, которые, ища и догоняя друг друга, бегают и громко кричат на улицах. Мир полон враждебных и страшных вещей.



Г-же Феликс Дэкори

V

ГАЛСТУК

Г. Бержере вбивал гвозди в стены новой своей квартиры. Заметив, что это ему доставляет удовольствие, он стал доискиваться причин, по которым ему приятно вбивать гвозди в стену. Он нашел эти причины, — тогда удовольствие исчезло. Ибо удовольствие состояло в том, чтобы вбивать гвозди, не доискиваясь причины вещей. И так, размышляя над злосчастьем философического ума, повесил он в гостиной на самом почетном, по его мнению, месте портрет своего отца.

— Он висит слишком наклонно, — сказала Зоз.

— Ты думаешь?

— Конечно. Он сейчас упадет.

Г. Бержере укоротил шнурки, на которых висел портрет.

— Он криво висит, — сказала мадемуазель Бержере.

— Ты думаешь?

— Да это видно. Он наклонен влево.

Г. Бержере заботливо его поправил.

— А теперь?

— Немного вправо.

Г. Бержере сделал все, что мог, чтобы нижняя полоса рамы пришлась, наконец, параллельно линии горизонта, потом отошел на три шага, дабы судить о своей работе.

— Кажется, хорошо, — сказал он.

— Теперь хорошо, — сказала Зоз. — Когда картина висит криво, я испытываю неприятное ощущение.

— Это свойственно не только тебе, Зоз. Многие люди испытывают от этого своего рода неловкость. В простых фигурах

неправильности неприятно поражают, потому что тут живо улавливаешь разницу между тем, что есть, и тем, что должно было бы быть. Есть люди, которые испытывают страдание от плохо подогнанных обоев. Находясь в жестоких и ужасных условиях жизни, человек заботится о криво висящей раме!

— Тут нечему удивляться, Люсьен. Мелочи занимают большое место в жизни. Ты сам поминутно интересуешься пустяками.

— В течение стольких лет смотрю я на этот портрет, — сказал г. Бержере, — и ни разу не замечал того, что теперь меня в нем поражает. Теперь я замечая, что отцовский портрет это — портрет молодого человека.

— Но, Люсьен, отцу не было еще тридцати лет, когда художник Госселэн, по возвращении из Рима, написал этот портрет.

— Правда, сестра, но когда я был маленький, я думал, что это портрет человека пожилого, и это впечатление так у меня и оставалось. Оно только что внезапно исчезло. Краски Госселэна потемнели, под старым лаком тело приняло желтоватый тон амбры; оливковые тени скрадывают его контуры. Лицо нашего отца, как будто, понемногу теряется в глубокой дали. Но этот гладкий лоб, эти большие пламенные глаза, эта спокойная и чистая худоба щек, эти черные кудри, пышные и блестящие — принадлежат — я вижу это впервые — человеку молодому.

— Конечно, — сказала Зоз.

— Прическа и костюм старомодны, времен его молодости. Волосы у него вихрастые. Воротник бутылочного сюртука высокий, под сюртуком на нем нанковый жилет, а широкий черный шелковый галстук три раза обернут вокруг шеи.

— Лет десять тому назад, — сказала Зоз, — можно еще было встретить стариков в таких галстуках.

— Может быть, — сказал г. Бержере, — во всяком случае, несомненно, что г. Малорей никогда не носил других.

— Ты имеешь в виду, Люсьен, декана факультета словесности в Сент-Омэре... Уж тридцать лет, как он умер, если не больше.

— Ему было за шестьдесят, Зоз, когда мне еще не было двенадцати. И тогда я совершил неслыханной смелости покушение на его галстук.

— Мне кажется, — сказала Зоз, — я помню эту проделку, не очень-то остроумную.

— Нет, Зоз, нет, ты не помнишь моего покушения. Если бы ты его помнила, ты иначе бы о нем говорила. Ты знаешь, что г. Малорей очень уважал собственную персону и при всех обстоятельствах сохранял большое достоинство. Ты знаешь, как точно он соблюдал все правила приличия. У него были превосходные старинные обороты речи. Однажды, пригласив наших родителей на обед, он сам передал матушке во второй раз блюдо артишоков и сказал: «Еще маленькую жопочку, сударыня». Это выражение было некогда в ходу и вполне согласовалось с лучшими традициями вежливости и языка. Ибо наши предки еще не говорили: un fond d'artichaut. Но теперь оно вышло из употребления, и матушка чуть не расхохоталась. Я не знаю, как мы-то с тобой, Зоз, узнали про эту историю с артишоками.

— Мы ее узнали, — сказала Зоз, подрубившая белые занавески, — мы ее узнали, потому что однажды отец рассказал ее при нас, не заметив нашего присутствия.

— И с тех пор, Зоз, достаточно тебе было увидеть г-на Малорей, чтобы тебя разобрал смех.

— Ты тоже смеялся.

— Нет, Зоз, я смеялся не над этим. Что смешно другим, не смешно мне, а что меня смешит, не смешит других. Я забавляюсь не там, где забавляются другие. Я не раз это замечал. Я ставлю свою комедию там, куда никто ее не ходит смотреть. Я смеюсь и печалюсь навыворот, и это часто делает меня похожим на идиота.

Г. Бержере взобрался на лестницу, чтобы повесить вид Везувия ночью во время извержения—акварель, доставшуюся ему от предка с отцовской стороны.

— Но я тебе не рассказал, сестра, как я был виноват перед г-ном Малорей.

Мадемуазель Зоэ сказала:

— Люсьен, пока ты еще на лестнице, повесь, пожалуйста, багеты на окна.

— Охотно,—ответил г. Бержере.—Мы жили тогда в одном домике в предместье Сент-Омэра.

— Петли в ящике с гвоздями.

— Я нашел... В домике с садиком.

— С очень хорошеньким садиком,—сказала Зоэ,—он был весь в сирени. На лужайке был небольшой цветник, обложенный терракотой, в глубине лабиринт и грот из раковин, а на стене две большие голубые вазы.

— Да, Зоэ, две большие голубые вазы. Однажды утром, летним утром, г. Малорей пришел к нам, чтобы кое о чем справиться, порыться в книгах, которых не было у него и которых он не нашел в городской библиотеке, погибшей во время пожара. Батюшка предоставил свой рабочий кабинет в распоряжение декана, и г. Малорей принял это предложение. Условились, что, сверившись с текстами, он останется у нас к завтраку...

— Посмотри, Люсьен, достаточно ли длинны занавеси?

— Сейчас. В то утро была душная жара. Птицы молчали среди неподвижных листьев. Сидя под деревом в саду, я видел в тени кабинета спину г-на Малорей и длинные его седые волосы, спадавшие на воротник сюртука. Он не шевелился, только рука его делала небольшие движения на листе бумаги. В этом не было ничего особенного. Он писал. Более необычным мне показалось...

— Ну что же, достаточно ли они длинны?

— Коротки пальца на четыре, Зоэ.

— Как, пальца на четыре? Дай-ка я посмотрю, Люсьен.

— Смотри... Более необычным мне показалось, что галстук г-на Малорей положен на подоконник. Декан, размолившись, снял с шеи трижды вокруг нее обмотанный кусок черного шелка. И длинный галстук свешивался в открытое окно. На меня напало непреодолимое желание взять его. Я тихонько подкрался к стене, протянул пальцы к галстуку, дернул его; в кабинете все было неподвижно; я дернул еще раз,—галстук остался у меня в руке, и я побежал и спрятал его в одну из больших голубых ваз.

— Это была не очень-то остроумная шутка, Люсьен.

— Нет... Я спрятал его в вазу и даже старательно прикрыл листьями и мхом. Г. Малорей еще долго работал в кабинете. Я видел его неподвижную спину и длинные седые волосы, спадавшие на воротник сюртука. Потом прислуга позвала меня завтракать. При входе в столовую самое неожиданное зрелище поразило мои взоры. Я увидел, рядом с отцом и матерью, г-на Малорей, торжественного, спокойного и без галстука. Он хранил свою обычную благородную осанку. Он был почти величествен. Но на нем не было галстука, и это меня удивило. Я знал, что он не мог быть при галстуке, раз галстук находился в голубом горшке. И все-таки я был сверх меры удивлен, что он без галстука.—Не могу постигнуть, сударыня...—медленно говорил он матушке. Она прервала его:—Муж одолжит вам галстук, дорогой г-н Малорей.

А я думал: «я спрятал галстук в шутку, а он и в самом деле его не нашел». И я был удивлен.



VI

ОНЕЗИМ ДЮПОН

Я познакомился с Онезимом Дюповом, когда он был уже стариком. В его лице я соприкасался с поколением Армана Карреля и редакторов «Глоб», убеждениям и правам которых он оставался верен. Имя его, некогда славное, ныне забыто. То был человек 48-го года, красный. Он любил музыку и цветы. Я изредка встречался с ним у моего отца. Одевался он во все черное и с большой тщательностью. Его поведение обнаруживало беспрерывное, мелочное уважение к самому себе. В восемьдесят лет он сохранял повадки военного. Единственный знакомый ему страх—страх запачкаться, — был так силен в нем, что он почти никогда не снимал своих светлых перчаток и лишь очень немногим подавал руку. В нем жила невероятная щепетильность по части порядочности и гигиены, постоянная потребность нравственной и физической чистоты. Я никогда не встречал ни человека, в котором было бы столько вежливости, ни такой ледяной вежливости. Блеск его глаз, светившихся на длинном желтом лице, и складка тонких губ производили бы неприятное впечатление, если бы не выражение великодушия, героизма и безумия, которыми дышала вся эта античная физиономия. Онезим Дюпон был не беден. Он слыл даже богатым, потому что при случае нарушал строгую бережливость своего обихода причудливой и странной роскошью.

Заговорщик в эпоху Июльской монархии, народный представитель в 1848 г., изгнанник в 1852 г., депутат в 1871 г., он был республиканцем и трудился для наступления свободы на

земле и всеобщего братства. Его доктрина была доктриной республиканцев, его современников; оригинальным же в нем было то, что он был одновременно и великодушнейшим другом человеческого рода, и мрачнейшим из мизантропов. Людей вообще он любил до того, что ради их счастья жертвовал своим имуществом, свободой, жизнью, но в то же время каждого из них в отдельности презирал, избегая общения с ним, как скверны. И это было не единственным противоречием в нем: он беспрестанно провозглашал независимость идеи, осуждал применение меча, а сам отстаивал свою доктрину со шпагой в руке, дрался на дуэлях из-за убеждений. Вплоть до старости он был самым славным дуэлистом своей партии.

Высокомерие, холодность и непоколебимое чувство чести, которыми он был наделен, делали из него своего рода красного дворянина. Он же был сыном торговца фарфором в предместье Пуассоньер. И его самого предназначали к торговле. Первые шаги его в этом деле ознаменовались довольно необыкновенным происшествием. Я расскажу вам об этом так, как мне рассказывали давно уже умершие старики.

Дюпон-отец, человек честный, человек ловкий, к 1835 г. чувствовал себя уже стариком. Составив себе торговлей довольно кругленькое по тому времени состояние, он решил уехать в деревню вместе с женой своей Элоизой, урожденной Рыбуль, которая недавно получила, наконец, наследство от отца, бывшего каменщика, скупщика национальных имуществ. Итак, в один из дней этого 1835 года, старик позвал сына в небольшую решетчатую клетку, в течение тридцати лет служившую ему конторой. И здесь держал ему следующую речь:

— Я уже не молод и хотел бы окончить свою жизнь, занимаясь садоводством. Мне всегда хотелось прививать груши. Жизнь коротка, но человек снова живет в своих детях. Творец природы даровал нам это бессмертие на земле. Тебе двадцать лет. В эти годы я торговал посудой по ярмаркам. Я возил тележку по всем департаментам Республики и не раз мне

случалось ночевать на краю дороги под дождем, под снегом. Существование было суровым для меня,—для тебя оно будет легким. Я радуюсь этому, так как твоя жизнь—продолжение моей. Я выдал твою сестру за адвоката. Пора уже мне предоставить твоей святой матери и себе самому отдых, мы оба его заслужили. Я возвысился в обществе благодаря своему труду, образование свое я почерпнул из альманахов и листков, распространявшихся по всей Франции в те времена, когда страна посреди смут устанавливала свой строй. Ты же учился в колледже. Ты знаешь латынь и право. Они—украшение ума, однако, самое важное состоит в том, чтобы быть честным человеком и зарабатывать деньги. Я создал хорошее предприятие. Твое дело поддержать его и расширить. Фарфор—превосходный товар, отвечающий всяческим жизненным потребностям. Займи мое место, Онезим. Ты пока еще не в силах занимать его один. Но я помогу тебе на первых порах, пусть клиенты привыкают к тебе. С сегодняшнего же дня начинай принимать заказы, которые будут приносить. Список цен, находящийся здесь в ящике, будет тебе большим подспорьем. Мои советы и время довершат остальное; ты человек не глупый и не дурной, я не упрекаю тебя за то, что ты носишь жилет «à la Робеспьер» и смутьянишь. Это недостаток, присущий твоему возрасту. Я тоже был молод. Садись-ка вот за тот стол, сынок.

И Дюпон-отец рукой указал сыну на старое, вышедшее из моды, бюро, которое он, не будучи расточительным, бережливо сохранял. Это было бюро обтянутое кожей, купленное им на аукционе лет тридцать назад и служившее еще Шуазелю в бытность его министром.

Онезим Дюпон молча повиновался и занял указанное ему место. Отец же отправился на прогулку, полный доверия к сыну, ибо считал, что добрая кровь себе не изменит, и довольный тем, что превратил бунтаря в торговца фарфором. Оставшись один, Онезим принялся изучать цены; он был склонен исполнять свой долг и внимательно относиться к делам, которыми занимался. Уже в течение получаса предавался он этому изучению, когда явился торговец фарфором в Дижоне

г-н Жозеф Пеньо. Это был весельчак и лучший заказчик фирмы Дюпон.

— Как, вы здесь, господин Онезим? Вы не разгуливаете уже щеголем по бульвару—в голубом фраке с золотыми пуговицами! Красотки из Китайских Бань, наверно, очень опечалены вашим отсутствием. Но вы правы, всему свое время—и потехе, и серьезным делам. Я пришел к вашему батюшке.

— Я его заменяю.

— Очень рад. Он мне друг. Вот уже десять лет, как я веду с ним дела. Надеюсь с вами их вести столько же и дольше, но вы скорее похожи на мать. И это большая похвала. Госпожа Дюпон очень недурна. Как поживает ваш батюшка? Я рассчитываю как-нибудь на этой неделе отобедать с ним в Роше де Канкаль, как мы это ежегодно делаем в течение десяти лет. Скажите же мне, что он не болен.

— Он здоров. Благодарю вас, сударь. Что вам угодно?

— Да видите ли, сейчас время подсчета магазинов. Я явился сделать свой ежегодный заказ. Я приехал сегодня утром в дилижансе и остановился, как всегда, в гостинице Виктуар, на улице Кок-Эрон.

И г-н Жозеф Пеньо, вытащив из кармана бумагу, перечислил предметы, в которых он нуждался: обеденные сервизы дюжинами, тарелки сотнями, тазы, кувшины. Словом, великолепный заказ.

— Постараюсь вас удовлетворить сударь,—сказал Онезим.

Устремив глаза на тариф, он заботливо указывал цены предметов, которые перечислял купец. Двадцать четыре сервиза à la Шарт, белые с золотом, двенадцать сервизов Ламартин, шестьдесят туалетных приборов...

— Как видите,—сказал г-н Жозеф Пеньо,—я не боюсь обременять себя товаром. Если хочешь много продавать, нужно много и покупать: я, как видите, человек смелый и не боюсь торгового риска. У вас нет лучшего заказчика,—прибавил он с добродушным смехом.

И тотчас же принял опечаленный вид и жалобно вздохнул:

— Вы, конечно, сделаете мне небольшую скидку. У вас

слишком высокие цены. Теперь плохие времена. Деньги во Франции есть, но их прячут. Нет уверенности. Сделайте мне небольшую скидку.

— Мне очень жаль, что я не могу исполнить вашу просьбу, — с ледяной вежливостью отвечал Онезим.

— Вы не можете сделать мне обычную скидку пять на сто? Вы шутите!

— Нет, сударь, я не шучу.

— Ваш батюшка, тот сейчас бы мне ее сделал. Он всегда делает мне скидки, о которых я прошу. Он не отказывает ни в чем старому своему приятелю Пеньо. Старина Дюпон человек славный!

— Довольно, сударь, — сказал Онезим, подымаясь, — после того, что вы мне только что сказали, я могу свестись с вами только через посредство двух своих друзей.

— Что такое вы говорите? — спросил дижонец, исполнившись изумления в невинности своей души.

— Я говорю, сударь, что буду иметь честь прислать к вам моих секундантов, которые почтут своей обязанностью предоставить себя к услугам ваших свидетелей.

— Я вас не понимаю.

— Очевидно, я недостаточно ясно выразился, сударь. Сблаговолите меня за это извинить. Я посылаю к вам свидетелей, потому что вы оскорбили моего отца.

— Я оскорбил вашего отца! Да он уже вот десять лет мой друг, собрат, которого я уважаю, которого я чту! Вы не в своем уме, молодой человек!

— Вы оскорбили его, сударь, заявив, что он может сделать вам скидку с цены, установленной на его товары; сказать это — значило сказать, что его прибыль слишком высока и, следовательно, бесчестна, — раз он может по вашей просьбе уменьшить ее. Короче говоря, это значило упрекнуть его в том, что он обманул бы вас на величину этой скидки, не потребовав ее у него, — это значило обвинить его в отсутствии щепетильности по отношению к вам. Следовательно, вы его оскорбили. Мне кажется, что на этот раз я высказался с достаточной ясностью.

Слыша эти слова, дижонец вытаращил глаза и разинул рот. Его удручала невозможность что-либо понять в этих доводах; больше же всего его пугало спокойствие и мягкость, с которой они были изложены. Действительно, Онезим Дюпон разговаривал с ним тем медленным и благозвучным голосом, которым впоследствии поддерживал в клубах и в Национальном Собрании самые ужасающие свои предложения.

— Молодой человек, — сказал дижонский купец, бледнея, — один из нас сумасшедший, это несомненно, иначе не может быть. Но я твердо уверен и, если надо, присягну в том, что этот один из нас — вы. Я не уеду из Парижа, пока не увижу вашего отца и не объяснюсь с ним. То, что со мной сейчас происходит, до такой степени странно, что я никогда не думал, чтобы нечто подобное могло случиться со мной или с кем-либо другим.

И он ушел, придавленный каким-то изумлением, чувствуя, что вот-вот заболеет. Он и действительно заболел и слег в постель в гостинице Виктуар на улице Кок-Эрон.

А тем временем Онезим Дюпон написал в казарму Шато-До двум унтер-офицерам, прося их содействия в деле чести. Это были двое сержантов-бунтарей, которые бессменно являлись секундантами у редакторов «Националя» и членов клуба Эсперанс.

Зато со следующего же дня папаша Дюпон вновь занял свое место за бюро. Он так и состарился за своей решёткой, не взрастил желанного сада и не делал прививок грушевым деревьям.

Онезим, освобожденный от торговых обязанностей, отдался исключительно общественным интересам и основал Тайное Общество «Лопата и Уровень», тревожившее Июльское правительство непрерывными нападениями и трижды поставившее его в опасное положение.



VII

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ В МОНТИЛЕ

Дело завязалось, все шло хорошо. Генерал Декюир из Южной армии, бригада которого занимала сильную позицию под Сен-Коломбанским лесом, произвел в 10 часов утра блестящую разведку, не обнаружившую присутствия неприятеля. После чего кавалеристы поели супу, а генерал, оставив свой штаб в Сен-Люшере, сел с капитаном Варно в приехавший за ним автомобиль и отправился в замок Монтиль, куда приглашала его к завтраку баронесса де Бонмон. Деревня Монтиль была вымощена. Генерал проехал под триумфальной аркой, воздвигнутой в честь его при входе в парк; арка устроена была из знамен, воинских трофеев и дубовых ветвей, сплетенных с лавровыми прутьями.

Баронесса Бонмон встретила генерала на крыльце замка и ввела его в огромную оружейную комнату, так и блестящую сталью.

— У вас, сударыня, великолепная резиденция и, к тому же, в прекрасной местности, — сказал генерал. — Я много охотился здесь, особенно у Бреса, где, не ошибаюсь, я имел удовольствие встречать вашего сына.

— Вы не ошибаетесь, — сказал Эрнест де Бонмон, который привез генерала из Сен-Люшера.

Завтракали в небольшом кружке. Кроме генерала, капитана и баронессы с сыном, были только г-жа Вормс-Клавелен и Жозеф Лакрисс.

— По-походному, — сказала г-жа де Бонмон, усаживая генерала по правую руку перед цветущим столом, на котором возвышался Наполеон из Севрского фарфора верхом на лошади.

Генерал обвел глазами длинную галерею, обитую лучшими коврами Ван-Орлея.

— Однако, здесь просторно!

— Генерал мог бы привести всю свою бригаду, — сказал капитан.

— Я была бы счастлива ее принять, — ответила баронесса с улыбкой.

Разговор шел простой, спокойный и сердечный. У присутствующих достало вкуса не говорить о политике. Генерал был монархистом. Он этого не высказывал, но это знали. Его корректность была безупречна. Двое его сыновей были арестованы за крики «Панама» на бульварах, во время выборов президента Лубэ; сам же он всегда был осторожен. Говорили о лошадях и пунках.

— Новые 75, это просто сокровище! — сказал генерал.

— Нельзя достаточно надивиться, — прибавил капитан Варно, — легкости, с какой регулируется стрельба. Это поистине чудесно.

— А во время действий, — сказала г-жа Вормс-Клавелен, — крышки лафетов, благодаря новому остроумному приспособлению, служат прикрытием артиллерийской прислуге.

Общество подивилось военным познаниям жены префекта.

В разговоре о Божьей Матери де Бель-Фейль г-жа Вормс-Клавелен еще раз показала себя с самой лучшей стороны.

— Вы знаете, генерал, что у нас в департаменте, и как раз в Бреса, есть чудотворная статуя Св. Девы?

— Я слышал об этом, — ответил генерал.

— Аббат Гитрель, — продолжала г-жа Вормс-Клавелен, — раньше, чем его рукоположили в епископы, сильно интересовался чудесами Божьей Матери де Бель-Фейль. Он написал даже маленькую книжку, чтобы доказать, что Божья Матерь де Бель-Фейль — особливая покровительница французской армии.

— Нужно прочесть эту книжку, — сказал генерал, — где ее можно достать?

Г-жа Вормс-Клавелен обещала прислать ее генералу.

Одним словом, за столом не было произнесено ни одного оскорбительного или неблагожелательного слова. После завтрака прошлись по парку. Капитан Варно откланялся.

— Пусть штаб ждет меня в Сен-Люшере, капитан, — сказал генерал.

И, обращаясь к Лакрису, продолжал:

— Большие маневры — подобие войны, но подобие не точное в том отношении, что тут все предвидено, между тем как на войне — значительная доля непредвиденного.

— Угодно вам взглянуть на фазанник, генерал? — спросила г-жа де Бонмон.

— С удовольствием.

Она обернулась.

— Ты пойдешь, Эрнест?

Эрнеста по дороге остановил Ролэн, мэр Монтиля.

— Извините меня, господин барон. Если вас не затруднит, скажите два слова генералу Декюиру, чтобы, если можно, артиллерию пустили со стороны Сен-Жана по моему полю с люцерной.

— Что же, Ролэн, у вас так плоха люцерна, что вы хотите, чтобы ее вытоптали?

— Нет, нет, она прекрасная, господин барон; у меня был бы на следующий месяц отличный покос. Но выгодно получить вознаграждение за убытки. Последний раз получил Уссио. По справедливости, на этот раз должен получить я. Я мэр, я несу все общественные обязанности; поэтому справедливо, чтобы в случае возможности получить вознаграждение...

Генерала повели в фазанник.

— Нужно возвращаться к бригаде, — сказал он.

— О, — сказал молодой барон, — на моем тридцатисильном — моментально там будем.

Зашли на псарню, в конюшни, в сад.

— Какие великолепные розы, — сказал генерал, любивший цветы.

Звук пушечного выстрела, затихая в душистом воздухе, донесся к ним.

— Это праздничный звук, — сказал Лакрисс, — это радует сердце.

— Как колокольный звон, — прибавила г-жа Вормс-Клавелен.

— Вы истая французенка, сударыня, — сказал генерал. — Каждое ваше слово звучит чистейшим патриотизмом.

Было четыре часа. Генерал не мог оставаться ни минуты дольше. К счастью, с 30-ю лошадиными силами можно мигом долететь.

Он сел в автомобиль с молодым бароном, Лакриссом и шоффером и снова проехал под своей триумфальной аркой.

Через сорок минут он был в Сен-Люшере, но не нашел там своего штаба. Вчетвером они напрасно искали капитана Варно. Деревня была пустынна. Ни одного солдата. Проезжавший в своей телеге мясник, у которого они спросили, где бригада Декюира, отвечал:

— Посмотрите по шоссе Каньи. Сейчас слышалась пальба по направлению к Каньи. Здорово пукала, ей Богу.

— Где это Каньи? — спросил генерал.

— Не беспокойтесь, генерал, я знаю, — сказал молодой барон. — Я вас свезу.

И так как путешествие предстояло довольно продолжительное, он передал генералу плащ от пыли, фуражку и очки.

Они пустились по департаментской дороге, проехали Сен-Андри, Вильнеф, Летаф, Сен-Порсэ, Трюфем, Миранж и увидели пруд Каньи, казавшийся медным при закате солнца. На шоссе они встретили драгунов Северной армии, не знавших, где находится бригада Декюира, но уверявших, что войска Южной армии завязали бой в Сен-Полэне.

Сен-Полэн был в сорока пяти километрах по направлению к Монтилю.

Автомобиль повернул, снова пустился по департаментской дороге, снова миновал Миранж, Трюфем, Сен-Порсэ, Летаф, Вильнеф и Сен-Андре.

— Поезжайте быстрее, — приказал молодой барон.

И машина неслась по улицам Верри-Фужере, Сюттьера Рари-ла-Виконтэ, поднимая облако пыли золотистой, как ореол, давя кур и свиней, и в двух километрах от Сен-Полэна встретила аванпосты Южной армии, которые занимали Солэзуй, Мевиль и де Сурдэ. Там они узнали, что вся Северная армия была по ту сторону Илетты.

Они направились на Торси ла Миранд, чтобы доехать до реки подле Старого Бака.

После часа езды они увидели в вечернем свете стелющийся по луговым низинам белый туман:

— Чорт! — сказал молодой барон, — мы не можем переехать: Илетский мост разрушен.

— Как! — вскричал генерал, — Илетский мост разрушен? что вы говорите? Мост разрушен!

— Чорт возьми! Если пользоваться терминами маневров, то мост «разрушен фиктивно».

Генерал Декюир не любил плохих шуток.

— Вы остроумны, молодой человек, — сказал он горько.

В Старом Баке они с громовым треском переехали через мост и пустились по древней римской дороге, соединяющей Торси-ла-Миранд с главным городом департамента. На небе около лунного полумесяца Венера зажгла свое серебристое пламя. Они проехали около тридцати километров, не встречая войск. У Сен-Эвариста был трудный подъем. Машина стонала, как усталое животное, но не остановилась. При спуске она наехала на камни и чуть не опрокинулась в канаву. Дальше дорога превосходна вплоть до Маллеманша, куда они приехали ночью, во время тревоги.

Небо сияло звездами. Трубы звучали. На голубой дороге трепетали полосы рыжего света от больших фонарей. Пехотинцы выходили из домов; жители высовывались в окна.

— Эти операции, — сказал Лакрисс, — производят впечатление, несмотря на то, что они фиктивны.

Генерал узнал, что его бригада занимает Вильнеф, на левом фланге победоносной армии. Враг повсюду отступал.

Вильнеф находится на слиянии Илетты с Кляной, в двадцати километрах от Маллеманша.

— В Вильнеф, — сказал генерал. — Наконец-то мы знаем, чего держаться. Это уже большая удача!

Дорога в Вильнеф была запружена пушками, артиллерийскими повозками, спящими артиллеристами в больших плащах, — сквозь все это автомобиль с большим трудом прокладывал дорогу. Маркитантка, сидя на тележке, освещенной китайскими фонарями, окликнула едущих, предлагая им кофе и ликеров.

— Не откажемся, — сказал генерал, — мы не мало пыли наглотались в дороге.

Они выпили по стаканчику и проехали до Вильнефа, который оказался занятым пехотой.

— А моя бригада? — вскричал генерал в беспокойстве.

Они стали боязливо расспрашивать встречных офицеров. Но те не имели никаких сведений о бригаде Декюира.

— Как, никаких сведений? Она не в Вильнефе? Это невероятно.

Как колокольчик, прозвенел в воздухе женский голос:

— Господа...

Они подняли головы и увидели украшенную папильотками голову почтовой барышни.

— Господа, есть два Вильнефа. Здесь — Вильнеф на Кляне. Может быть, вам нужен Вильнеф-ла-Батайль?

— Возможно, — сказал молодой барон.

— Это далеко, — продолжала барышня. — Нужно сначала проехать в Монтиль... Вы знаете Монтиль?

— Да, — ответил молодой барон, — мы знаем Монтиль.

— Потом вы поедете в Сен-Мишель дю Мон; поедете по национальной дороге...

Из соседнего дома с позолоченными гербами высунулась голова, рогато повязанная фуляром.

— Господа...

И нотариус Вильнефа на Клэне высказал свой совет:

— Чтобы попасть в Вильнеф-ла-Батайль, вам лучше пересечь Тонгский лес. Вы направляетесь к Круа дю Перрон, свертываете направо...

— Будет. Я знаю Тонгский лес,—сказал молодой барон,—я охотился там с Бресэ. Благодарю вас, сударь... Благодарю вас, барышня...

— Не за что,—сказала барышня.

— К вашим услугам, господа,—сказал нотариус.

— Не зайти ли нам в гостиницу закусить,—сказал молодой барон.

— Я бы охотно с'ел чего-нибудь,—сказал Лакрисс.—Я совсем разбит.

— Подбодритесь, господа,—сказал генерал.—Мы подкрепимся в Вильнеф-ла-Батайль.

И они поехали. Пересекли Вели, ла Рош, ла Соль, Мелэт, ла Тайери и в'ехали в Трамбльский лес. Ослепительный свет бежал перед ними в сумраке ночи и леса. Достигли Круа дю Перрон, потом перекрестка короля Генриха. Сломая голову, мчались они в молчании и одиночестве.

Они видели, как пробегали лоси, видели свет в хижинах угольщиков. Вдруг на выбитой дороге их заставил вздрогнуть зловеющий звук взрыва. Машина отделяется от почвы и упирается в дерево.

— Что такое?—спросил опрокинутый генерал.

Лакрисс стонет, распростертый на папоротниках.

А Эрнест с фонарем в руках объявляет зловеющим голосом:

— Лопнула шина. А хуже всего, что передний обод покривился.



VIII

ЭМИЛЬ

Мадемуазель Бержере молчала. Она улыбнулась, что было не в ее обычаях.

— Чему ты смеешься, Зоэ?—спросил г. Бержере.

— Я думаю об Эмиле Венсене.

— Как, Зоэ, ты думаешь об этом превосходном человеке, который недавно умер, которого мы любили, которого оплакиваем, и ты смеешься.

— Я смеюсь, потому что вижу его, каким он был когда-то, а старые воспоминания—самые сильные. Однако, ты должен был бы знать, Люсьен, что не все улыбки веселы, так же, как не все слезы—скорбны. Старой деве приходится объяснять тебе это.

— Мне известно, Зоэ, что смех—следствие нервного потрясения. Когда г-жа де Кюстин прощалась со своим мужем, которого революционный трибунал осудил на смертную казнь, ею в тюрьме овладел безумный смех при виде заключенного, прошедшего мимо нее в халате, ночном колпаке, с нарумяненным лицом и с подсвечником в руках.

— Этого нельзя сравнивать,—сказала Зоэ.

— Нет,—ответил г. Бержере.—Но я вспоминаю, что случилось со мною самим при известии о смерти бедной Демэ, распевавшей по кафе-концертам веселые песенки. Это происходило в префектуре во время парадного вечера. Вормс-Клавелен нам говорит: «Демэ умерла».

Что касается меня, то я принял эту новость с приличною скорбью. И, думая о том, что мы больше никогда не

услышим, как эта толстуха поет: «Я щелкаю орехи», я за тайл меланхолию, заключающуюся в этой мысли, дал ей отстояться в душе и хранил молчание. Помощник префекта, г. Лакарэль, вскричал глубоким голосом в свои национальные усы:—Демэ умерла. Какая потеря для французского веселья!—Это напечатано сегодня в вечерней газете,—сказал судья Пийу.—Да, действительно,—мягко прибавил генерал Картье-де-Шальмо,—и говорят, что эта особа умерла, исповедавшись и причастившись.

При этом простом замечании генерала, мне в голову пришла внезапная, странная, неприличная мысль. Я представил себе конец света, как он описан в «Dies irae», в свидетельствах Давида и Сивиллы. Я видел испепеленный мир, я представлял себе мертвых, выходящих из своих гробниц и толпящихся, по ангельскому зову, перед престолом Судии, и толстую Демэ, совершенно голую, одесную Господа. При этой мысли я расхохотался, гражданские и военные чиновники посмотрели на меня с удивлением. Хуже всего было то, что, не будучи в состоянии прогнать это видение, я сказал со смехом: «Вы увидите, что одним своим присутствием она лишит страшный суд всякой серьезности». Никогда, Зоэ, слово не было менее понято. Никогда слово не было менее одобрено.

— Ты нелепый человек, Люсьен, у меня нет такого причудливого воображения. Я улыбнулась, потому что представила себе нашего бедного друга Венсена таким, каким был он при жизни. Вот и все. Это вполне естественно. Я жалею о нем от всего сердца. У нас не было лучшего друга.

— Как и ты, Зоэ, я его очень любил, и при мысли о нем мне, подобно тебе, хочется улыбаться. Любопытно было, что в таком маленьком теле обитал такой воинственный пыл, и что, при круглом кукольном личике, он обладал героической душой. Жизнь его протекла спокойно в предместьях провинциального города. У него была щеточная фабрика в Тентеллери. Но эти заботы не поглощали его души.

— Он был даже меньше дяди Жана,—сказала мадемуазель Бержере.

— И он был военным, и гражданским, и колониальным,—сказал г. Бержере.

— Это был добрый и честный человек,—сказала мадемуазель Бержере.

— Он участвовал в войне 1870 г., Зоэ. Тогда ему было двадцать лет. Мне было всего двенадцать. Он мне казался немолодым. В один из дней Ужасного года ¹⁾, он вошел, бряца оружием, в наш мирный провинциальный дом. Он пришел проститься с нами. На нем была ужасная форма вольного стрелка. Из-за пунцового пояса торчали две ручки седельных пистолетов. И так как судьба хочет, чтобы люди улыбались в самые трагические минуты, то бессознательное воображение неизвестного оружейника прицепило его еще к огромной кавалерийской сабле. Не упрекай меня, Зоэ, за этот оборот речи, он встречается в одном письме Цицерона. «Кто, говорит оратор, прицепил моего зятя к этому мечу?»

Что меня всего более удивляло в наряде нашего друга Эмиля Венсена, это именно огромная сабля. В моей детской душе она породила надежду на победу. Мне кажется, что ты, Зоэ, обратила больше внимания на сапоги, потому что, подняв глаза от работы, ты воскликнула: «Смотрите: кот в сапогах»!

— Я сказала: «Кот в сапогах»? Бедный Эмиль!

— Ты сказала: «Смотрите: кот в сапогах!» Не жалею об этом, Зоэ. Г-жа д'Абрантес рассказывает в своих мемуарах, что одна маленькая девочка назвала также «котом в сапогах» молодого и худого Бонапарта, когда однажды увидела его смешно наряженным в форму республиканского генерала. Бонапарт не простил ей этого. Наш друг, более великодушный, не обиделся на эти слова. Эмиль Венсен попал со своим отрядом под командование генерала, не любившего

¹⁾ 1870—71 год.

вольных стрелков. Генерал сказал им: «Мало вырядиться, как на святках, надо еще и сражаться!»

Друг Венсен без смущения выслушал эту сильную речь. Он был изумителен во время всей кампании. Однажды он подошел со спокойствием героя и близорукого человека к самым вражеским аванпостам. Он не видел на три шага вперед. Никакие силы не могли заставить его отступить. В течение всех тридцати лет остальной своей жизни он вспоминал, делая травяные щетки, месяцы своей походной службы. Он читал военные газеты, председательствовал на собраниях своих товарищей по оружию, присутствовал при открытиях памятников бойцам 1870 г.; он проходил во главе рабочих своей фабрики перед статуями Верцингеторикса, Жанны д'Арк и Луарских солдат, по мере того, как они вырастали из французской почвы. Он произносил патристические речи. И здесь, Зоэ, мы соприкасаемся с одним действом человеческой комедии, мрачный комизм которой, быть может, оценят впоследствии. Эмиль Венсен решил заявить в суде, что Эстергази мошенник и предатель. Он говорил это, потому что был слишком чистосердечен, чтобы скрывать истину. Начиная с этого дня, его стали считать врагом отечества и армии. К нему относились, как к изменнику и человеку чужому. Огорчение, испытанное им от этого, усилило развитие сердечной болезни, которой он страдал. Он умер опечаленный и удивленный. Последний раз, как я его видел, он разговаривал о тактике и стратегии. Это был излюбленный предмет его разговоров. Хотя он участвовал в войне 70 года, беспорядочной и крайне бестолковой, все же он был убежден, что военное искусство — прекраснейшее из искусств. Боюсь, что я его рассердил, уверяя, что, в сущности говоря, нет военного искусства и что, ведя войну, пользуются всеми мирными искусствами: искусством булочника, кузнеца, полицейского, химика и т. п.

— Зачем ты говорил подобные вещи, Люсьен? — спросила мадемуазель Бержере.

— Таково мое убеждение, — ответил г. Бержере. — Так

называемая, стратегия, в сущности, искусство, практикуемое агентством Кука. Оно состоит главным образом в том, чтобы переходить реки по мостам и проходить горы через горные проходы. Что же касается тактики, то правила ее чисто ребяческие. Великие полководцы с ними не считаются. Не признаваясь в этом, они многое предоставляют случаю. Их искусство состоит в этом, чтобы создавать благоприятные для них предрассудки. Им становится легко побеждать, когда их считают непобедимыми. Только на карте сражение принимает ту видимость порядка и правильности, которая доказывает высшую волю.

— Бедный Эмиль Венсен, — вздохнула мадемуазель Бержере. — Правда, он очень любил военных. Я, как и ты, уверена, что он жестоко страдал, когда видел, что военный мир относится к нему, как к врагу. Генеральша Картье-де-Шальмо была очень резка с ним. Она знала лучше, чем кто бы то ни было, что он много дает на армию. Однако, она прервала с ним всякие сношения, узнав, что он объявил Эстергази мошенником и предателем. И порвала она очень резко. Когда он явился к ней с визитом, она подошла к передней, где он ждал, и закричала так, что он не мог не слышать: «Скажите, что меня нет дома». А между тем, она — не злая женщина.

— Разумеется, нет, — сказал г. Бержере. — Она поступила с тою святою простотою, еще более удивительные примеры которой мы видели в другие эпохи. (Теперь добродетель на уровне посредственности. А бедный Эмиль именно от огорчения и умер.

IX

АДРИЕННА БЮКЭ

Мы кончали обедать в кабачке. Лабулэ сказал мне:

— Я согласен, что все эти факты, относящиеся к мало еще исследованному состоянию организма, как двойное зрение, внушение на расстоянии, оправдывающиеся предчувствия, — в большинстве случаев недостаточно строго констатированы, чтобы удовлетворить всем требованиям научной критики. Почти все они основаны на свидетельствах, которые, даже будучи искренними, оставляют сомнение относительно природы явлений. Эти факты еще недостаточно определены, согласен с тобой. Но возможность их не подлежит для меня никакому сомнению, с тех пор, как я сам констатировал один из таких случаев. Благодаря счастливой случайности, мне удалось соблюсти все условия точного наблюдения. Ты можешь поверить моим словам: я действовал методично, заботливо устраняя все поводы к ошибкам.

Произнося эту фразу, молодой доктор Лабулэ ударял себя обеими руками по впалой, набитой брошюрами, груди, и приблизил ко мне через стол свою задорную лысую голову.

— Да, дорогой мой, — прибавил он, — благодаря исключительной удаче, одно из явлений, отнесенных Миерсом и Подмором к разряду «призраки живых», во всех своих фазисах протекло перед глазами человека науки. Я все констатировал, все записал.

— Я слушаю.

— Действие, — заговорил снова Лабулэ, — относится к лету 91 года. Мой друг, Поль Бюкэ, о котором я часто тебе гово-

рил, занимал тогда с женою небольшую квартиру на улице Гренель против фонтана. Ты не знаком с Бюкэ?

— Я видел его раза два, три. Толстый малый, до глаз заросший бородою. Жена у него была бледная брюнетка с крупными чертами лица и продолговатыми, серыми глазами.

— Вот, вот — желчный и нервный темперамент, довольно уравновешенный. Но у женщины, живущей в Париже, нервы берут верх и... все к чорту. Ты видел Адриенну?

— Я встретил ее однажды вечером на улице Мира с мужем перед витриной ювелира; у нее разгорались глаза на сапфиры. Красивая особа и чертовски элегантная, а всего лишь — жена бедняги, утонувшего в подпочвах промышленной химии. Бюкэ был неудачником?

— Бюкэ уже пять лет работал в торговом доме Жакоб, продающем на бульваре Мажента материалы и принадлежности для фотографии. Он ждал со дня на день, что его сделают компаньоном. Не зарабатывая тысячи, он всетаки занимал не плохое положение. У него было будущее. Человек терпеливый, простой, работающий, в конце концов, он должен был выбиться. А пока что, жена ему отнюдь не была в тягость. Как настоящая парижанка, она умела изворачиваться и по минутно находила по необыкновенно низким ценам белье, платья, кружева, драгоценности. Она удивляла мужа своим умением чудесно одеваться на гроши, и Полю льстило, что всегда она хорошо одета, всегда у нее изящное белье. Но все, что я тебе рассказываю, не интересно.

— Мне это очень интересно, дорогой Лабулэ.

— Во всяком случае, эта болтовня отвлекает нас от цели. Я был, как ты знаешь, еще школьным товарищем Поля Бюкэ. Мы познакомились во втором классе колледжа Людовика Великого и не переставали часто видаться вплоть до тех пор, когда, в двадцать шесть лет, не имея положения, он женился на Адриенне по любви, взяв ее безо всякого приданого. Этот брак не прекратил нашей дружбы. Адриенна относилась ко мне сердечно, и я очень часто обедал у молодых супругов. Как ты знаешь, я лечу актера Лароша, посещаю

артистов, и они время от времени дают мне билеты. Адриенна и ее муж очень любили театр. Когда у меня бывала ложа, я обедал у них и потом вместе с ними отправлялся во Французскую Комедию. Они всегда обедали втроем: Бюкэ, регулярно возвращавшийся в половине седьмого со своей фабрики, его жена и друг дома Жеро.

— Жеро? — спросил я, — Марсель Жеро, служивший в банке и носивший такие красивые галстуки?

— Он самый. Он был у них своим человеком. Будучи старым холостяком и приятным собеседником, он обедал у них ежедневно. Он приносил омаров, паштеты и всякие лакомства. Он был мил, любезен и молчалив. Бюкэ не мог без него обходиться, и мы брали его с собой в театр.

— Сколько ему было лет?

— Жеро? Не знаю. Между тридцатью и сорока... Однажды Ларош дал мне ложу, и я, как всегда, отправился на улицу Гренель к моим друзьям, Бюкэ. Я немного опоздал и, когда пришел, обед уже был подан. Поль умирал с голоду, но Адриенна не хотела садиться за стол, не дождавись Жеро. «Дети мои! — воскликнул я, — у меня ложа № 2 во Французскую Комедию. Идет «Дениза». «Ну, — сказал Бюкэ, — давайте скорее суп и постараемся не опоздать к первому действию». Служанка подала, Адриенна казалась озабоченной и видно было, что суп не идет ей в горло. Бюкэ шумно проглатывал вермишель и ловил ее языком, когда она повисала у него на усах. «Женщины — необыкновенный народ», — воскликнул он, — «представь себе, Лабулэ, Адриенна беспокоится, что Жеро сегодня не пришел к обеду. Она выдумывает Бог знает что. Скажи ей, что это — нелепо. Жеро могли помешать. У него свои дела. Он человек холостой, он никому не обязан давать отчета. Меня, наоборот, удивляет, что он почти все вечера проводит с нами. Это очень мило с его стороны. Он заслуживает, чтобы ему дали немного свободы. У меня правило не беспокоиться о том, что делают мои друзья. Но женщины думают иначе». Г-жа Бюкэ ответила изменившимся голосом: «Я не спокойна; я боюсь, не случилось ли

чего с г. Жеро». Бюкэ между тем торопил с обедом. «Софи, — кричал он прислуге, — мясо! салат! Софи, сыру, кофе». Я заметил, что г-жа Бюкэ ничего не ела. «Ну, — сказал ей муж, — иди одеваться. Иди, не задерживай нас, а то мы пропустим первое действие. Пьеса Дюма — это не оперетка, где достаточно прослушать одну, две арии. Это логическая последовательность выводов, где ничего нельзя пропустить. Иди, дорогая. Мне только надеть сюртук». Она встала и пошла в свою комнату медленно, будто против воли.

Мы с мужем пили кофе и курили сигары: «Мне все же досадно, — сказал Поль, — что наш славный Жеро сегодня не пришел. Ему бы доставило удовольствие посмотреть «Денизу». Но, повнимаешь ли ты, почему Адриенну так мучит его отсутствие? Я уже говорил ей, что у этого отличного малого могут быть дела, о которых он нам не говорит, ну, любовные дела, что ли. Она ничего не понимает. Передай мне сигару». В ту минуту, как я передавал ему портсигар, мы услышали в соседней комнате долгий испуганный крик, затем звук тяжелого и мягкого падения. «Адриенна!», — закричал Бюкэ. Он бросился в спальню. Я за ним. Мы нашли Адриенну на полу, с белым лицом, закатившимися глазами, без движения. Незаметно было никаких признаков эпилепсии. Не было пены у рта. Члены вытянуты, но не заостенели. Пульс неровный и короткий. Я помог мужу перенести ее в кресло. Почти тотчас же кровообращение восстановилось, цвет лица, обыкновенно матово-белый, порозовел. «Там, — сказала она, указывая на зеркальный шкаф, — там! я увидела его. Я застегивала лиф и увидела его в зеркале. Я обернулась, думая, что он стоит за мною. Но, никого не видя, я поняла и упала».

Между тем, я исследовал, не причинило ли ей падение каких-либо повреждений, но не нашел никаких. Бюкэ заставил ее выпить бальзамической воды с сахаром. «Ну же, милая, — говорил он, — приди в себя. Какого чорта ты увидела? Что ты тут рассказываешь?» Она опять побледнела. «О, я видела его, его, Марсея». — «Она видела Жеро. Странно!»

вскричал Бюкэ. «Да, я его видела,—повторила она серьезно,—он посмотрел на меня, ничего не говоря, вот так». И она сделала дикое лицо. Бюкэ взглядом спрашивал моего совета.— Не беспокойтесь,—ответил я,—такие припарки не опасны; может быть, они происходят от болезни желудка. На свободе мы это обсудим. Теперь не время этим заниматься. В больнице Шаритэ я видел больного невралгией желудка, которому под всякой мебелью мерещились кошки.

Через несколько минут г-жа Бюкэ совершенно оправилась, и муж ее, посмотрев на часы, сказал мне: «Если вы думаете, Лабулэ, что театр ей не повредит, то время ехать. Я пошлю Софи за извозчиком». Адриенна порывисто надела шляпу. «Поль, Поль, доктор, послушайте, заедем сначала к г. Жеро. Я беспокоюсь, я не могу передать, как я беспокоюсь». — «Ты с ума сошла!», — вскричал Бюкэ, — «что могло случиться с Жеро? Вчера мы его видели совершенно здоровым». Она бросила на меня умоляющий взгляд, жгучий блеск которого пронзил мне сердце. «Лабулэ, друг мой, поедем к г. Жеро сейчас же, хорошо?» Я обещал ей. Она меня так просила! Поль ворчал, ему хотелось видеть первое действие. Я сказал ему: «Поедем к Жеро, это небольшой крюк». Экипаж ждал нас. Я крикнул извозчику: «Улица Лувр, № 5, да поезжайте скорее!»

Жеро жил на улице Лувр в № 5, недалеко от своего банка, в небольшой квартирке из трех комнат, заваленных галстуками. Они были роскошью этого славного малого. Едва мы остановились у дома, Бюкэ выскочил из экипажа и, просунув голову в швейцарскую, спросил: «Как поживает г. Жеро?» Швейцариха ответила: «Г. Жеро вернулся в пять часов, взял свои письма. Больше он не выходил. Если вы желаете его видеть, так по лестнице в глубине, в четвертом этаже, направо». Но Бюкэ уже кричал в дверцы экипажа: «Жеро дома. Видишь, ты говорила вздор, дорогая? Извозчик, во Французскую комедию!» Но Адриенна почти выскочила из кареты: «Поль, заклинаю тебя, подымись к нему. Повидай его. Повидай его, так нужно». — «Подыматься на четвертый этаж!» — сказал он, пожимая плечами, — Адриенна, мы из-за тебя пропустим пред-

ставление. В конце концов, когда женщине втемяшится что-нибудь в голову...

Я остался один в карете с г-жею Бюкэ; я видел, как в темноте блестели ее глаза, устремленные на подъезд. Наконец Поль появился. «Чорт возьми, я три раза звонил, никто не отвечает. В конце концов, дорогая, у него без сомнения есть причины, по которым он не хочет, чтобы его беспокоили. Может быть, у него женщина. Что тут удивительного?» Взгляд Адриенны принял такое трагическое выражение, что мною самым овладело беспокойство. К тому же, по размышлении, мне не казалось таким естественным, чтобы Жеро, никогда не обедавший дома, оставался у себя с пяти часов вечера до половины восьмого. — Подождите меня, — сказал я г-ну и г-же Бюкэ, — я сейчас поговорю со швейцарихой. — Эта женщина тоже удивлялась, что Жеро не вышел, как всегда, обедать. Она прибирала у своего жилья с четвертого этажа, так что у нее был ключ от его квартиры. Она сняла этот ключ с гвоздика и предложила подняться вместе со мною. Поднявшись на площадку, она открыла дверь и из передней окликнула раза три или четыре «Г. Жеро!» Не получая ответа, она решила войти в следующую комнату, служившую спальней. Позвала еще раз: «Г. Жеро! г. Жеро!» Никто не отвечал, было темно. Спичек у нас не было. «На вочном столике должна быть коробка шведских спичек», — сказала мне женщина, начавшая дрожать и не смеявшая ступить шагу. Я принялся шарить по столику и почувствовал, что пальцы мои попали во что-то липкое. «Это мне знакомо, — подумал я, — это кровь».

Когда, наконец, мы зажгли свечку, мы увидели Жеро на кровати с пробитой головой. Рука его свешивалась на ковер, куда упал револьвер. Забрызганное кровью письмо лежало незапечатанное на столе. Написанное его рукою, оно было адресовано г-ну и г-же Бюкэ и начиналось так: «Дорогие друзья, вы были радостью и очарованием моей жизни». Затем он объявлял им о своем решении умереть, не открывая в точности причин, но давал понять, что к самоубийству его

побудили денежные затруднения. Я признал, что смерть последовала около часа тому назад: следовательно, он убил себя в ту минуту, когда г-жа Бюкэ видела его в зеркале.

— Не правда ли, дорогой, вот, как я тебе и говорил, совершенно проверенный случай двойного зрения или, говоря точнее, необычайной психической одновременности, которыми наука в настоящее время занимается скорее с прилежанием, чем с успехом.

— Это может быть и нечто другое,—ответил я.—Ты уверен, что между Марселем Жеро и г-жею Бюкэ ничего не было?

— Но... я ничего не замечал. А потом, разве это меняет дело...



не

X

Г Е М М А

Я пришел к нему в полдень, как он меня просил. Мы завтракали в длинной, как церковный неф, столовой, где он собрал сокровища старинного ювелирного искусства. Во время завтрака он был задумчив. Временами в его речах снова сказывалось живое изящество его ума, его тонкий художественный вкус, его спортивный пыл, не охлажденный даже ужасным падением с лошади, при котором он разбил себе голову. Но мысли его обрывались. Одна за другой они останавливались, словно перед барьером.

Из этого разговора, следить за которым было довольно утомительно, я запомнил только, что он недавно послал пару белых павлинов к себе в замок Рарей и что, безо всякой причины, он уже три недели не посещает своих друзей, покинув даже самых близких из них, г. и г-жу Н***. Но очевидно, он вызывал меня не для таких разговоров. За кофе я спросил его, что он хотел мне сказать. Он посмотрел несколько удивленно:

— Я хотел тебе что-то сказать?

— Ну, да, ты же мне написал: «Приходи ко мне завтракать. Мне надо поговорить с тобою».

Так как он молчал, я вынул из кармана письмо и показал ему. Адрес был написан его красивым почерком, бойким, немного ломаным. На конверте была печать сиреневого сургуча.

Он прикоснулся пальцем ко лбу.

— Ах, я вспоминаю. Будь добр, зайти к Фералию. Он покажет тебе набросок Ромнея: молодая женщина, золотые волосы, их отблеск золотит лоб и щеки. От темно-голубой радужной оболочки все глазное яблоко голубеет... Теплая свежесть кожи... Прелестно. Но рука, как пузырь... Одним словом, посмотри и постарайся узнать, не...

Он прервал себя. И уже положив руку на дверную ручку:

— Обожди меня. Я сейчас надену жакет. Выйдем вместе.

* * *

Оставшись один в столовой, я подошел к окну и посмотрел внимательнее на печать из сиреневого сургуча. Это был оттиск древней геммы, изображавшей сатира, который снимает покрывало с нимфы, спящей у подножия невысокой колонны, под лавром, — излюбленный сюжет резчиков по камню и художников эпохи римского расцвета. Воспроизведение казалось мне превосходным. Чистота стиля, несравненное чувство формы, стройность замысла делали из этой сцены, величиной в ноготь, обширную и сильную композицию.

Я продолжал любоваться ею, когда мой друг появился в полуотворенной двери.

— Ну, идем.

Он был в шляпе и, казалось, торопился выйти.

Я похвалил его печать.

— Я не видел у тебя этой удивительной геммы.

Он ответил, что она у него недавно, месяца полтора. Это находка. Он снял с пальца перстень, где была вставлена гемма, и протянул его мне.

Известно, что обычно геммы этого прекрасного классического стиля делаются из корнелина, поэтому я несколько удивился, увидя матовый камень темно-сиреневого цвета.

— Вот как, — вскричал я, — аметист!

— Да, печальный камень, не правда ли? Он приносит несчастье. Как по-твоему, эта гемма древняя?

Он велел принести лупу. В увеличительное стекло я мог лучше рассмотреть моделировку углубленных мест. Несомненно, это было замечательное произведение греческой резьбы первых времен Империи; я не видел ничего лучше в Неаполитанском музее, меж тем там собрано такое множество гемм. В лупу можно было различить на колонне эмблему, столь часто изображавшуюся на памятниках, посвященных сюжетам Вакхического цикла. Я обратил на это его внимание.

Он пожал плечами и улыбнулся. Камень был оправлен только в ободок. Я вздумал посмотреть на обратную сторону и очень удивился, найдя там какие-то знаки, нацарапанные возмутительно неуклюже и относящиеся, очевидно, к гораздо более позднему времени, чем сама гемма.

Они имели некоторое сходство с резьбой на восточных амулетах «абраксас», столь известных антикварам, и я, несмотря на свою неопытность, распознал, что это магические знаки. Мой друг думал то же.

— Говорят, — сказал он, — что это кабалистическая формула заклинания, встречающаяся у одного греческого поэта...

— У какого?

— Я их не очень-то различаю.

— У Теокрита?

— Может быть, и у Теокрита.

В лупу я отчетливо разобрал группу из четырех букв:

ΚΗΡΗ.

— Это не составляет слова, — сказал мой друг.

Я заметил ему, что по-гречески это выходит: «Кэрэ».

И я отдал ему камень, он долго на него смотрел в каком-то оцепенении, потом надел на палец.

— Идем, — сказал он затем поспешно, — идем, тебе куда?

— В сторону Маделэн. А тебе?

— Мне, куда же я иду? Ах, да. Я иду к Голо посмотреть лошадь, которую он не хочет покупать, не показавши мне. Знаешь, ведь я лошадиный барышник и даже до некоторой степени ветеринар. А также старьевщик, обойщик, архи-

тектор, садовод и, в случае надобности, биржевой маклер. Я бы мог заткнуть за пояс евреев, если бы это не было так утомительно.

Мы вышли из предместья, и мой друг пошел таким шагом, который совсем не соответствовал его обычной вялости. Вскоре его шаги сделались такими стремительными, что я насилу за ним поспевал. Перед нами шла недурно одетая женщина. Он обратил на нее мое внимание.

— Спина кругла и талия немного тяжеловата. Но посмотри на перехват ноги. Я уверен, что нога очаровательна. Видишь ли, лошади, женщины,—все прекрасные животные построены одинаково. Их члены, полные и закругленные в мясистых своих частях, утончаются к соединениям суставов, где видна тонкость костей. Посмотри на эту женщину, выше талии—это ничтожество. Но опусти взор. Как свободна и могуча форма, взгляни! Видно, как она передвигается с места на место прекрасными, соразмерными массами. А как тонка нога внизу. Я уверен, что икры стройны и нервны и что, в общем, это—очень красивая особа.

И он прибавил с мудростью, которую он хорошо усвоил и которой охотно делился с другими.

— Не нужно всего требовать от одной женщины, следует брать наслаждение, где его находишь. Наслаждение встречается чертовски редко.

И тотчас же, по таинственному сцеплению мыслей, он поднял левую руку, чтобы взглянуть на гемму. Я сказал ему:

— Ты заменил этим чудесным вакхическим изображением свой герб, маленькое деревцо?

— Ах да, бук де Дю Фо¹⁾. Мой прапрадед был в Пуату при Людовике XVI тем, что называли человеком благородным, т. е. принадлежал к верхнему слою буржуазии. Потом он сделался членом революционного клуба в Пуатье и скупщиком национальных имуществ, что мне обеспечивает теперь дружбу принцев и место среди аристократов в нашем еврейско-американ-

¹⁾ „Le fau“—простонародное название бука.

ском обществе. Почему изменил я буку де Дю Фо, почему? Он почти что стоил дуба герцогини де ла Сикотьер. А я променял его на вакхический герб, бесплодный лавр и эмблематическую колонну.

Когда он с насмешливой напыщенностью произносил эти слова, мы подошли к особняку его друга Голо; однако, Дю Фо не остановился перед двумя медными молотками в виде Нептуна, блестящими у дверей, как краны в ванне.

— Ты же так торопился к Голо?—Казалось, он не понимал меня и все ускорял шаг. Одним духом он долетел до улицы Матиньол, в которую и свернул. Потом он внезапно остановился у большого и печального пятиэтажного дома. Он молчал и с тоскою смотрел на плоский оштукатуренный фасад, с многочисленными окнами.

— Что же, ты долго так будешь стоять?—спросил я.— Ты знаешь, что в этом доме живет г-жа Сэр?

Я был уверен, что рассержу его упоминанием о женщине, в которой он всегда терпеть не мог фальшивой красоты, всем известной продажности и бросающейся в глаза глупости; говорили, что теперь, став старой и безобразной, она воровала кружева по магазинам. Но он ответил мне слабым, почти жалобным голосом:

— Ты думаешь?

— Я наверное это знаю. Да вот, во втором этаже ее ужасные занавески с красными леопардами.

Он покачал головой.

— Г-жа Сэр. Да, действительно, действительно мне кажется, что она живет здесь. Я думаю, что в данную минуту она за одним из этих красных леопардов.

Повидимому, он хотел зайти к ней. Я выразил свое изумление:

— Прежде она тебе не нравилась, когда все находили ее красивой, когда она внушала роковые страсти и трагическую любовь. Ты говорил: «Довольно и одной шероховатой кожи, чтобы внушить мне непреодолимое отвращение; а у этой женщины, к тому же еще плоская талия

и огромные руки». Что же, теперь, когда вся она разваливается, ты находишь в ней те прелестные тайники, которыми, как ты только что говорил, нужно довольствоваться? Что ты думаешь о тонкости ее щиколотки и благородстве ее души? Крупная кобыла, без груди, без бедер, которая, входя в гостиную, поводила глазами и этим простым средством привлекала к себе толпу дураков и честолюбцев, разоряющихся на женщин, которые не могут раздеться.

Я остановился, мне было немного стыдно говорить так о женщине. Но эта женщина дала такие обильные доказательства своей ужасной злобы, что я мог уступить злобному чувству, которое она внушала. Действительно, я никогда не выразился бы так, если бы не знал, что у нее дурное сердце, что она коварна. Впрочем, я с удовольствием заметил, что Дю Фо ни слова не слышал из того, что я сказал.

Он стал говорить, будто про себя:

— Пойду ли я к ней, или не пойду, это совершенно все равно. Вот уже полтора месяца, как я не могу войти ни в одну гостиную, не встретив ее там. В домах, где я уже много лет не бывал и куда возвращаюсь, сам не знаю почему! Станные дома!

Я так и оставил его стоящим перед открытою дверью, не понимая, что его там удерживало. Вдруг Дю Фо, который не переносил г-жи Сэр, когда она была красавицей, и отверг заигрыванья этой дамы в ее блестящие годы, — теперь домогается внимания этой старой и пропитанной морфием женщины! Это казалось мне следствием извращения, которое удивляло меня в моем друге. Я бы рискнул утверждать, что подобное заблуждение чувств вообще невозможно, если бы можно было установить что-нибудь определенное в темной области чувственной патологии.

* * *

Через месяц я покинул Париж, не имев случая снова увидеть Поля Дю Фо. Проведя несколько дней в Бретани, я поехал в Трувиль повидать мою двоюродную сестру Б***, поселившуюся там с детьми. Первая неделя моего пребывания

в домике Альционов прошла в том, что я учил своих племянниц писать акварелью, а племянников фехтовать и слушал, как кузина играет Вагнера.

В воскресенье утром я проводил все семейство в церковь и во время обедни пошел побродить по городу. Идя по улице, которая спускается к морскому берегу и вдоль которой тянутся ряды игрушечных лавок и магазинов всякой мелочи, я увидел перед собою г-жу Сэр. Она шла к кабинкам одна, вялая, покинутая. Она волочила ноги, будто была обута в старые ночные туфли. Платье, дешевое и потертое, казалось, еле на ней держалось. На минуту она обернулась. Меня испугали ее пустые глаза, невидящие, и обвислый рот. Женщины на нее косились, а она шла мрачно и равнодушно.

Очевидно, бедная женщина была отравлена морфием. В конце улицы она остановилась перед витриной г-жи Гийо и длинной худой рукой принялась ощупывать кружева. В эту минуту ее жадный взгляд напомнил мне то, что рассказывали о скверных историях с ней в больших магазинах. Толстая г-жа Гийо, провожая покупателей, показалась в дверях. И г-жа Сэр, оставив кружева, снова безнадежно поплелась к морскому берегу.

— Вы больше ничего у меня не покупаете. Вот плохой покупатель! — закричала, заметив меня, г-жа Гийо. — Зайдите посмотреть сережки и веера, которые понравились вашим племянникам. Как эти барышни хорошеют!

Потом она посмотрела вслед удаляющейся г-же Сэр и покачала головой, как бы говоря:

— Вот несчастная.

Мне пришлось выбрать для племянниц стразовые сережки. Пока торговка заворачивала мне пакетик, я увидел в окне Дю Фо, который направлялся к морю. Он шел очень быстро с озабоченным видом. Так как он по временам покусывал себе ногти, как это делают озабоченные люди, я увидел на пальце у него аметист.

Эта встреча тем более меня удивила, что Дю Фо объявил, что едет в Динар, где у него загородный дом и где он пускает лошадей на бега. Я отправился в церковь за своей кузиной. Я спросил у нее, знает ли она, что Дю Фо в Трувиле. Она знаком ответила, что да. Потом прибавила с некоторым смущением:

— Наш бедный друг порядком-таки смещон. Он не отходит от этой женщины. И по правде сказать...

Она остановилась, потом продолжала:

— Это он ее преследует. Это необъяснимо.

Это он преследовал ее.

В каких-нибудь несколько дней я получил верные тому доказательства. Я постоянно видел, как он ходил по пятам за г-жею Сэр и г. Сэром, о котором так никто и не знает, глупый это муж или покладистый. Глупость его спасла. В его подлости продолжают сомневаться. Когда-то эта женщина безумно старалась понравиться Дю Фо, который охотно помогает семействам, привыкшим к роскоши и находящимся в стесненных обстоятельствах. Но Дю Фо не скрывал от нее своей антипатии. Он при ней говорил: «Женщина поддельно красивая неприятнее, чем безобразная. От безобразной можно ждать приятных неожиданностей. Другая же—это плод, исполненный тлена». В таких случаях сила чувства поднимала речь Дю Фо до стиля Св. Писания. Теперь г-жа Сэр не обращала на него внимания. Сделавшись равнодушной к мужчинам, она знала только свой шприц Праваца да свою подругу, графиню В***. Эти женщины почти не расставались, и общество допускало даже, что связь их могла быть невинной, так как обе были умирающими. Между тем, Дю Фо провожал их на прогулки. Однажды я видел его: нагруженный плащами, он нес через плечо огромный морской бинокль г. Сэр. Он добился того, что катался на лодке с г-жею Сэр, и весь берег с тягостной радостью следил за ними в бинокль.

Вполне естественно, что при такой его зависимости, у меня не было особенного желания видаться с ним часто, и

так как он все время находился в каком-то сомнамбулическом состоянии, то я уехал из Трувиля, не обменявшись и десятью словами с моим несчастным другом, которого я оставил в жертву Сэрам и графине В***.

Снова встретился я с ним однажды вечером в Париже, у своих друзей и соседей Н***, — это очень любезные и милые люди. В убранстве их хорошенького особняка на авеню Клебар я узнал тонкий вкус г-жи Н*** и вкус Дю Фо, которые так подходят друг к другу. Гостей было немного, только близкие, и Поль Дю Фо, как и прежде, проявлял свойственный ему склад ума, эту утонченную изысканность, соединяющуюся, неизвестно как, с самой живописной грубостью. Г-жа Н*** остроумна, обычно разговоры довольно интересны. Однако, первое, что я услышал, входя, было скучно и избито. Чиновник, г. советник Николя, длинно рассказывал известную историю о караулке, в которой все солдаты, один за другим, кончали самоубийством и которую пришлось снести, чтобы прекратить этот новый вид эпидемии. В заключение г-жа Н*** спросила у меня, верю ли я в талисманы. Советник г. Николя избавил меня от необходимости отвечать, уверяя, что я, как человек неверующий, должен быть суеверным. — «Вы не ошибаетесь, ответила г-жа Н***, он не верит ни в Бога, ни в чорта и обожает истории о том свете». Я смотрел на эту очаровательную женщину, пока она говорила, и восхищался скромной красотой ее щек, шеи, плеч. Вся она производит впечатление редкой и драгоценной вещи. Не знаю, что думает Дю Фо о ножке г-жи Н***... Я нахожу ее прелестной.

Поль Дю Фо пожал мне руку. Я заметил, что кольца на пальце у него больше не было.

— Что ты сделал с твоим аметистом?

— Я потерял его.

— Потерял гемму, лучшую, чем все римские и неаполитанские геммы?

Не дав ему времени ответить, г. Н***, не отходивший от него, вскричал:

— Да, это странная история. Он потерял свой аметист.

Н***—превосходный человек, очень доверчивый, немного неуклюжий и такой простой, что вызывает иногда улыбку. Он шумно позвал жену:

— Марта, дорогая моя, смотрите: вот человек, который еще не знает, как Дю Фо потерял свой аметист!

Потом, обращаясь ко мне:

— Это—целая история. Представьте себе, наш друг нас совсем забросил, я говорил жене: «Что ты сделала Дю Фо?» Она отвечала: «Я? ничего, мой друг». Непонятная вещь. И наше удивление удвоилось, когда мы узнали, что он не расстается с этой бедной г-жею Сэр.

Г-жа Н*** прервала мужа:

— Ну, какой интерес это может представлять?

Но Н*** настаивал:

— Позвольте, дорогая. Все, что я рассказываю, я говорю, чтобы объяснить историю с аметистом. Итак, этим летом наш друг Дю Фо отказался приехать, как обыкновенно, к нам в деревню. Я и жена сердечно его приглашали. Но он остался в Трувиле у своей двоюродной сестры де Морейль в скучном обществе.

Г-жа Н*** запротестовала.

— Конечно, продолжал Н***, в скучном обществе. Он каждый день катался на лодке с г-жею Сэр.

Дю Фо спокойно заметил, что во всем рассказе г-на Н*** нет ни слова правды. Тот положил ему руку на плечо:

— Ну, посмей отпереться!

И стал доканчивать свое повествование:

— Дю Фо день и ночь катался с г-жею Сэр или с ее тенью, так как от г-жи Сэр, говорят, осталась только тень. Муж Сэр оставался на берегу с биноклем. В одну из таких прогулок Дю Фо потерял свой аметист. После этого несчастного случая он не захотел оставаться в Трувиле ни

одного дня. Он покинул морской берег, ни с кем не простившись, сел на поезд и приехал к нам в Эйзи, где уже никто его не ждал. Было два часа утра. «Вот и я», сказал он спокойно. Вот чудак!..

— А аметист?—спросил я.

— Это—правда,—ответил Дю Фо, он упал в море. Он поконился в мелком песке. По крайней мере, ни один рыбак не приносил его мне—в животе какой-нибудь рыбы, как это принято.

Спустя несколько дней, я зашел, как часто это делаю, к Генделю на улице Шатоден и спросил, нет ли у него каких-нибудь подходящих для меня безделок. Он знает, что я, вопреки всякой моде, собираю античный мрамор и бронзу. Он молча открыл одну витрину, известную только любителям, и вынул оттуда маленького египетского писца из твердого камня, в примитивном стиле—прямо сокровище! Но, узнав цену, я сам, со взглядом сожаления, поставил его на место. И тут я увидел в витрине восковой отпечаток геммы, которой я так восхищался у Дю Фо.

Я узнал нимфу, колонку, лавр. Сомнений быть не могло.

— У вас была и печать?—спросил я Генделя.

— Да, в прошлом году я ее продал.

— Хорошая вещь. Как она к вам попала?

— От Марка Делиона, финансиста, который пять лет тому назад покончил с собою из-за одной светской женщины из-за госпожи... вы, может быть, знаете ее, из-за госпожи Сэр.



XI

СИНЬОРА КЬЯРА

Профессор Джакомо Тедески из Неаполя известный в своем городе врач. Дом его, сильно благоухающий, находящийся около Инкоронаты, посещается людьми всякого рода, а в особенности красавицами, что продают в Санта Лучиа *frutti del mare*. Он торгует лекарствами от всяких болезней, не откажется выдернуть вам испорченный зуб, после праздников отлично зашьет у какого-нибудь молодца расколенную кожу и умеет применять береговой диалект к школьной латыни, успокаивая своих клиентов, простертых в самом что ни на есть широком, самом колченогом, самом скрипучем и грязном докторском кресле, какое только можно видеть в каком-либо приморском городке вселенной. Это человек маленького роста, с полным лицом, маленькими зелеными глазками и длинным носом, опускающимся на изогнутый рот; круглые плечи, острый живот и хилые ножки вызывают воспоминание об античном фарсе.

Уже пожилым, Джакомо женился на молоденькой Кьяре Мамми, дочери бывшего каторжника, очень уважаемого в Неаполе, который потом открыл булочную на Борго ди Санто и умер, оплаканный всем городом. Созревши на солнце, которое золотит виноград из Торре и Соррентские апельсины, красота Синьоры Кьяры распустилась в цветущем блеске.

Профессор Джакомо Тедески думает, что жена его так же добродетельна, как и прекрасна. К тому же он знает, как сильно понятие женской чести в разбойничьих семьях. Но он врач, и от него не скрыто, каким потрясениям и слабостям

подвержена женская природа. Некоторое беспокойство внушал ему Асканио Раньери, из Милана, дамский портной с площадки Мучеников, который повадился к ним ходить. Асканио был молод, красив и вечно улыбался. Конечно, дочь героического Мамми, патристического булочника, была слишком хорошей неаполитанкой, чтобы забыть свои обязанности с миланцем. Тем не менее Асканио являлся по соседству с Инкоронатой преимущественно в отсутствие доктора, и синьора охотно принимала его без свидетелей.

Однажды, вернувшись домой раньше, чем его ждали, профессор застал Асканио на коленях перед Кьярой. Меж тем как синьора удалялась спокойной походкой, достойной ботинь, Асканио поднялся. Джакомо Тедески приблизился к нему с признаками самого живого участия.

— Друг мой, я вижу, что вы нездоровы. Хорошо, что вы ко мне обратились. Я врач, я посвятил себя облегчению человеческих страданий. Вы нездоровы, не отпирайтесь. Вы нездоровы, очень нездоровы. Все лицо у вас горит. Конечно, головная боль, сильная головная боль. Как хорошо, что вы ко мне пришли! Я уверен, вы меня с нетерпением ждали. Ужасная головная боль.

Говоря таким образом, старик, сильный, как сабинский бык, толкал Асканио в свой врачебный кабинет и насильно усадил в знаменитое кресло, где за сорок лет перебивало столько неаполитанских болезней.

Держа его в глубине кресла, доктор говорил:

— Я вижу, что с вами. У вас болят зубы. Вот, вот! У вас ужасно болят зубы.

Он вынул из сумочки огромную «козью ножку», насильно раскрыл ему рот и одним поворотом козье ножки вырвал зуб.

Асканио убежал, отплевываясь кровью, а профессор Джакомо Тедески кричал с дикой радостью:

— Хороший зуб! хороший, превосходный зуб!

XII

НЕПОДКУПНЫЕ СУДЬИ

— Я видел, — сказал Жан Марто, — неподкупных судей. Это было на картине. Я уехал в Бельгию, чтобы избавиться от любопытного чиновника, желавшего, чтобы я участвовал в анархическом заговоре. Я не знал моих соучастников, и мои соучастники не знали меня. Но это не являлось затруднением для чиновника. Его ничто не затрудняло. Им руководило не желание найти истину, а желание во что бы то ни стало создать почву для обвинения. Его мания показалась мне опасной. Я уехал в Бельгию и остановился в Антверпене, где поступил приказчиком к мелочному торговцу. Однажды в воскресенье я увидел двух неподкупных судей в Музее на картине Мабюза. Они принадлежали к исчезнувшей породе. Я хочу сказать, что это были странствующие судьи, путешествующие шажком на своих клячах. Их сопровождают пешие воины, вооруженные копьями и алебардами. На судьях этих, волосатых, бородатых — странный и пышный головной убор, как на королях в старых фламандских библиях, похожий одновременно на ночной колпак и на диадему. На них парчевая одежда. Старинный мастер сумел придать им важный вид, спокойный и кроткий. Их лошади кротки и спокойны, как и они. Однако, у этих судей не один и тот же характер, не одно и то же учение. Это сейчас же видно. Один держит в руке бумагу и указывает пальцем на ее текст. Другой, опершись левой рукой о седельную луку, правую поднимает скорее благосклонно, чем властно. Кажется, будто в щепотке пальцев он держит какой-то неосязаемый порошок.

И этот жест заботливой руки доказывает благоразумную и тонкую мысль. Они оба неподкупны, но, повидимому, первый придерживается буквы, второй духа. Опершись о барьер, отделивающий их от публики, я слушал их речи. Первый судья сказал:

— Я держусь того, что написано. Первый закон начертан был на камне в знак того, что он будет существовать, пока существует мир.

Второй судья отвечал:

— Всякий писанный закон уже устарел. Ибо рука писца медлительна, ум же людской проворен, и судьба изменчива.

И добрые старцы продолжали свою поучительную беседу.

Первый судья: Закон постоянен.

Второй судья: Ни в какое мгновение закон не установлен окончательно.

Первый судья: Происходя от Бога, он неизменен.

Второй судья: Естественное следствие общественной жизни, он зависит от изменчивых условий этой жизни.

Первый судья: Он — воля Бога, которая не меняется.

Второй судья: Он — воля людей, беспрестанно меняющаяся.

Первый судья: Он существовал прежде человека, он выше его.

Второй судья: Он происходит от человека, несовершенен, как он, и, как он, способен к усовершенствованию.

Первый судья: Судья, открой свою книгу и прочти, что там написано. Ибо Бог продиктовал это верующим в него: Sic locutus est patribus nostris, Abraham et semini ejus in saecula ¹⁾.

Второй судья: Что написано мертвыми, будет зачеркнуто живыми, иначе воля тех, кого уже нет, тяготела бы над теми, кто еще жив, и мертвые стали бы живыми, а живые стали бы мертвыми.

¹⁾ Так сказано отцам нашим, Аврааму и семени его во веки.

Первый судья: Законам, продиктованным умершими, живые должны повиноваться. Мертвые и живые—современники перед Богом. Моисей и Кир, Цезарь, Юстиниан и немецкий император правят еще нами. Ибо перед Всевышним мы—их современники.

Второй судья: Живые должны получать законы от живых. Зороастр и Нума Помпилий имеют для нас меньше значения, в смысле распознавания того, что нам позволено и что нам запрещено, чем башмачник от св. Гудулы.

Первый судья: Первые законы были открыты нам бесконечной Мудростью. Закон тем лучше, чем ближе он к этому источнику.

Второй судья: Разве вы не видите, что ежедневно создаются новые законы, и что конституции и своды законов отличаются друг от друга сообразно времени и местности?

Первый судья: Новые законы вытекают из старых. Это молодые побеги того же древа, и одни и те же соки питают их.

Второй судья: Старое древо законов источает горький сок. Ему беспрестанно наносят удары секирой.

Первый судья: Не судье разбирать, справедливы ли законы: они по необходимости таковы. Его дело лишь справедливо применять их.

Второй судья: Нам приходится разбирать, справедлив ли применяемый нами закон или нет, потому что, признав его несправедливым, мы можем внести смягчающую поправку в применение, которое мы обязаны сделать.

Первый судья: Критика законов несовместима с уважением, которое мы должны питать к ним.

Второй судья: Если мы не будем замечать их строгости, как мы сможем смягчать их?

Первый судья: Мы—судьи, а не законодатели и не философы.

Второй судья: Мы—люди.

Первый судья: Человек не мог бы судить другого человека. Судья, заседая, отрекается от своей человечности. Он обожествляется и не чувствует больше ни радости, ни горя.

Второй судья: Правосудие, воздаваемое без любви, самая жестокая из несправедливостей.

Первый судья: Правосудие совершенно, когда оно придерживается буквы.

Второй судья: Когда оно не одухотворено, оно бессмысленно.

Первый судья: Источник законов—божественен, и последствия, из него вытекающие, даже самые малые,—божественны. Но даже если бы закон не был всецело от Бога, если бы он был вполне человеческим, то и тогда нужно было бы применять его буквально. Ибо буква недвижна, а дух блуждает.

Второй судья: Закон всецело принадлежит человеку и зародился, нелепый и жестокий, в слабых начатках человеческого разума. Но даже, если бы он был божественного происхождения, нужно было бы следовать духу его, а не букве, потому что буква мертва, а дух—жив.

Сказав так, двое неподкупных судей спешились и со своей свитой направились к Судилищу, где их ждали,—чтобы каждому воздать должное. Их лошади, привязанные к колу под большим вязом, заговорили между собой. Лошадь первого судьи заговорила в первую очередь:

— Когда земля,—сказала она,—будет принадлежать лошадям (а, несомненно, когда-нибудь она будет им принадлежать, так как очевидно, что лошадь—последняя и конечная цель мироздания), когда земля будет принадлежать лошадям, и мы будем вольны поступать по нашему усмотрению, мы будем жить по законам, как люди, и доставим себе удовольствие сажать в тюрьмы, вешать и колесовать наших ближних. Мы будем существами нравственными. Это будет явствовать из тюрем, виселиц и лобных мест, которые будут воздвигнуты в наших городах. Будут лошади законодатели. Как ты думаешь, Руссэн?

Руссэн, лошадь второго судьи, ответил, что, по его мнению, лошадь—царь творенья, и что он надеется, что рано или поздно придет его царство.

— Бланшэ,—прибавил он,—когда мы построим города, нужно будет, как ты говоришь, учредить городские власти. Я

хотел бы, чтобы у лошадей были лошадиные законы, я хочу сказать—законы полезные для лошадей и конского блага.

— Как ты понимаешь это, Руссэн?—спросила Бланшэ.

— Понимаю, как должно. Я требую от законов, чтобы они обеспечивали каждому его долю корма и место в конюшне; и чтобы каждому было позволено любить по его желанию в назначенное для этого время. Потому что всему есть время. Наконец я хочу, чтобы лошадиные законы сообразовались с природой.

— Надеюсь,—ответила Бланшэ,—что у наших законодателей будут более возвышенные мысли, чем у тебя, Руссэн. Они составят законы на основании откровения небесного Коня, сотворившего всех лошадей. Он всеблаг, так как всемогущ. Могущество и благодать — его атрибуты. Он предопределил, чтобы его создания мирились с уздой, носили хомут, страдали от шпор и изнемогали под ударами. Ты говоришь о любви, коллега: он захотел, чтобы многие из нас стали меринами. Таков распорядок. Законы должны будут поддерживать этот достойный обожествления порядок.

— А ты уверен, друг,—спросил Руссэн,—что это зло происходит от небесного Коня, сотворившего нас, а не исключительно от человека, его низшего создания?

— Люди — исполнители и вестники воли небесного Коня,—ответила Бланшэ.—Воля его очевидна во всем, что происходит. Он благостен. Если он хочет нам зла, так потому, что зло — благо. Следовательно, для того, чтобы закон был благ, нужно, чтобы он причинял нам зло. И в лошадином царстве мы будем притесняемы, мучимы всяческими эдиктами, постановлениями, декретами, решениями, приказами, чтобы стать угодными небесному Коню.

— У тебя, Руссэн,—прибавила Бланшэ,—наверно, ослиная голова, раз ты не понимаешь, что лошадь была создана для страдания, что если она не страдает, то противоречит своему назначению, и что небесный Конь отвращает взор свой от счастливых лошадей.

Ивану Страннику

ХІІІ

ОКЕАНСКИЙ ХРИСТОС

В этом году многие из Сен-Валери, отправившиеся на рыбную ловлю, утонули в море. Тела их были найдены выкинутыми волной на берег вместе с обломками лодок, и в течение девяти дней видно было, как по холмистой дороге, ведущей к церкви, несли на руках гробы, за которыми шли в черных капюшонах плачущие вдовы, как библейские жены.

И хозяин Жан Леноэль с сыном своим Дезире также положены были в церкви, к своду которой некогда, в дар Богородице, подвесили они оснащенный корабль. Это были честные и богобоязненные люди. И г. Гийом Трюфем, священник Сен-Валери, после отпуска, произнес полным слез голосом:

— Никогда еще не были опущены в землю, чтобы ждать Страшного Суда—более храбрые люди и лучшие христиане, нежели Жан Леноэль и сын его Дезире.

В то время, как рыбацьи лодки гнили у берега, большие корабли шли ко дну в открытом море, и ни одного дня не проходило, чтобы океан не выбрасывал каких-нибудь обломков. И вот, однажды утром дети увидели из лодки плывшую по морю фигуру. Это было изображение Иисуса Христа в человеческий рост, вырезанное из твердого дерева и натурально раскрашенное; оно, казалось, было старинной работы. Спаситель плыл по воде, раскинув руки. Дети вытащили его на берег и принесли в Сен-Валери. На лбу у него был терновый венец; ноги и руки были пронзены. Но гвоздей не было, так же как и креста. С распростертыми руками, благословляющий, он,

в жертвенной позе, являлся таким, каким видел его Иосиф Аримафейский и св. жены во время его погребения.

Дети передали изображение священнику Трюфему, сказавшему им:

— Это изображение Спасителя — старинной работы, и мастера, без сомнения, давно уже нет на свете. И хотя амьенские и парижские торговцы продают нынче прекрасные статуи, по сто франков, и дороже, однако, нужно признать, что и у прежних мастеров были свои достоинства. Особенно же радует меня мысль, что с раскрытыми об'ятьями Иисус Христос явился в Сен-Валери для того, чтобы благословить приход, подвергшийся такому жестокому испытанию, и возвестить, что он сжалился над бедняками, которые с опасностью для жизни отправляются на рыбную ловлю. Он — Господь, ходивший по водам и благословлявший сети Кифы.

И священник Трюфем, положив Христа в церкви на алтарные пелены, заказал плотнику Лемерру хороший крест из дубовой сердцевины.

Когда он был готов, Господа Бога прибили к нему новенькими гвоздями и водрузили в церкви над местом старосты.

Тогда-то и увидели, что взоры его исполнены милосердия и как будто влажны от небесного сострадания.

Одному из старост, присутствовавших при водружении креста, показалось, что по божественному лику текли слезы. На следующее утро священник, войдя со служкой в церковь служить обедню, очень удивился, увидев крест над скамейкой пустым, а Христа лежащим на алтаре.

Тотчас после св. литургии он послал за плотником и спросил, почему он снял Христа. Но плотник отвечал, что он совершенно не прикасался к нему, и г. Трюфем, расспросив сторожа и служителей, убедился, что с той минуты, как изображение Господне было водружено над ктиторской скамьей, в церковь никто не входил.

Тогда он почувствовал, что происходит нечто чудесное, и стал размышлять. В ближайшее воскресенье он сказал

об этом в проповеди прихожанам и приглашал их помочь своими пожертвованиями соорудить другой крест, лучше первого и более достойный носить того, кто искупил мир.

Бедные сен-валерские рыбаки дали, сколько могли, денег, вдовы же принесли свои обручальные кольца. Г. Трюфем мог сейчас же отправиться в Аббевиль заказать крест из черного дерева, полированный, с надписью на дощечке золотыми буквами: И. Н. Ц. И. Через два месяца его поставили на место прежнего и прикрепили к нему Христа между копьем и тростью.

Но Иисус покинул его, как и первый, и как только наступила ночь, опять простерся на алтаре.

Священник, найдя его утром там, упал на колени и долго молился. Слух об этом чуде распространился, и амьенские дамы стали делать сборы для сен-валерского Христа. Г. Трюфем получил из Парижа деньги и драгоценности, а жена морского министра, г-жа Гид де Невиль, прислала ему бриллиантовое сердце. Располагая всеми этими сокровищами, ювелир с улицы Св. Сульпиция сделал в два года золотой с драгоценностями крест, который весьма торжественно освятили во второе после Пасхи воскресенье в 18... году. Но тот, кто не отверг скорбного креста, уклонился от этого богатого креста и снова возлег на белый алтарный покров.

Боясь оскорбить его, там его и оставили на этот раз, и он покоился там в течение двух лет, когда вдруг Пьер, сын Пьера Кайу, объявил священнику Трюфему, что он нашел на морском берегу истинный Господень крест.

Пьер был юродивым, и, так как у него не хватало разума, чтобы зарабатывать себе пропитание, ему давали хлеба Христа-ради; его любили, так как он никогда не делал зла, но бессвязных речей его никто не слушал.

Однакоже г. Трюфем, не перестававший размышлять о тайне океанского Христа, был поражен словами нищего безумца. Он отправился со сторожем и двумя старостами на то место, где, по словам Пьера, он видел крест, и нашел две доски с гвоздями, долго пробывшие в море и действительно составившие крест.

Это были обломки давнишнего кораблекрушения. На одной из досок еще можно было разобрать две буквы черной краской: Ж. и Л. так что не могло быть сомнения, что это остатки лодки Жана Леноэля, пять лет тому назад погибшего в море вместе с сыном своим Дезирэ.

При этом зрелище сторож и старосты принялись смеяться над юродивым, который обломки лодки принимает за Господень крест. Но священник Трюфем пресек их насмешки. Он много размышлял и молился с того времени, как рыбакам явился океанский Христос, и ему начала открываться тайна бесконечной благодати. Он преклонил колени на песке, прочел молитву за усопших христиан, потом велел сторожу и старостам отнести на плечах находку в церковь и там положить. Когда это было исполнено, он снял Христа с алтаря, возложил на лодочные доски и сам прикрепил его гвоздями, ржавыми от морской воды.

По его распоряжению на следующий же день крест этот занял место золотого с драгоценностями креста над ктиторской скамьей. Океанский Христос не покидал больше своего древа. Он пожелал остаться на этих досках, на которых умерли люди, призывая его имя и имя Пресвятой его Матери. И там, полукрыв свои божественные и скорбные уста, казалось, он говорил: «Крест мой сделан из страданий, ибо воистину я Бог бедных и несчастных».



XIV

ЖАН МАРТО

1

С о н

Так как разговор шел о сне и сновидениях, Жан Марто сказал, что один сон оставил в его мозгу неизгладимое впечатление.

— Он был пророческим?—спросил г. Губэн.

— Этот сон,—отвечал Жан Марто,—не имел в себе ничего примечательного, хотя бы даже по бессвязности. Но во время него я видел все образы с болезненною, ни с чем несравнимою остротою. Ничто в мире, ничто, никогда не ощущалось мной так живо, как видения этого сна. С этой-то точки зрения он и интересен. Он помог мне понять иллюзии мистиков. Если бы я не обладал научным умом, я бы принял его за откровение и искал бы в нем руководства для поведения, правил для жизни. Должен вам сказать, что сон этот видел я при исключительных обстоятельствах. Это было весною 1895 года, мне было двадцать лет. Новичок в Париже, я переживал довольно трудные дни. Этой ночью я растянулся в чаще Версальского леса, не встав перед тем целые сутки. Я не страдал. Я находился в состоянии сладостного успокоения, только минутами прерывавшегося ощущением беспокойства. Мне казалось, что я и не сплю, и не бодрствую. Маленькая девочка, совсем крохотная, в голубом капоре и белом передничке шла на костылях, в сумерках, по равнине. Костыли с каждым шагом

удивлялись и подымали ее, как ходули. Скоро они сделались выше топей, что росли вдоль реки. Какая-то женщина, заметив мое удивление, говорит мне: «Разве вы не знаете, что весной костыли растут? Иногда они растут с ужасающей быстротой».

Человек, лица которого я не мог рассмотреть, прибавляет: «в климатические часы!»

Тогда, со слабым и таинственным шумом, напугавшим меня, вокруг меня начали подыматься травы. Я встал и дошел до равнины, покрытой бледными, волокнистыми и мертвыми растениями. Тут я встретил Верно, единственного моего друга в Париже, где он жил так же плачевно, как и я. Мы долго молча шли рядом. На небе огромные без лучей звезды казались похожими на диски светлого золота.

Я знал причину этого и объяснил ее Верно: «Это оптическое явление,—сказал я,—они не в фокусе нашего глаза».

И я продолжал, с заботливой тщательностью и бесконечными усилиями, доказательства, основанные главным образом на полном тождестве человеческого глаза и зрительной трубы.

Пока я рассуждал таким образом, Верно нашел на земле, в бледной траве, огромную черную шляпу, вроде котелка, с полями, обшитую золотым галуном и с брильянтовой пряжкой. Он надел ее себе на голову, говоря: «Это шляпа городского головы!»—Ну, конечно,—отвечал я.

И я продолжал свои доказательства. Они были так трудны, что с меня лил пот. Каждую минуту я терял нить и все начинал одну и ту же фразу: «У больших крокодилов, водившихся в теплых водах допотопных морей, глаза были устроены, как подзорные трубки...»

Я остановился только, когда заметил, что Верно исчез. Вскоре я нашел его в какой-то расселине. Он был посажен на вертел над костром из хвороста. Индейцы, волосы у которых были пучком связаны на макушке, поливали его из длинной ложки и повертывали вертел. Верно сказал мне ясным голосом: «Мелани пришла».

Тут только я заметил, что голова и шея у него цыплячи.

Но я думал только о том, как бы встретить Мелани, которая, как мне по внезапному озарению стало известно, была прекраснее всех женщин. Я пустился бежать и, достигнув лесной опушки, увидел при лунном свете убегающую белую фигуру. Волосы великолепного рыжего цвета были распущены по спине. Серебристый свет ласкал ее плечи, голубая тень лежала в углублении, разделявшем ее блиставшую спину, а ямочки на ее бедрах, которые поднимались и опускались при каждом движении, улыбались божественной улыбкой. Я отчетливо видел, как лазурная тень то увеличивалась, то уменьшалась под коленкой, в зависимости от того, была ли вытянута или согнута нога. Я заметил также розовые ее подошвы. Я долго гнался за нею без усталости, бегом легким, как полет птицы. Но густая тень заволакивала ее, и ее непрерывный бег завел меня на такую узкую дорожку, что маленькая чугунная печь совершенно ее загораживала. Это была печка с длинной согнутой трубой, какие ставят в мастерских. Она была раскалена добела. Дверцы были так раскалены, что чугун вокруг них краснел... Кошка с облезлой шерстью сидела на печке и смотрела на меня. Приблизясь, я увидел сквозь трещины ее изжаренной кожи, что горячая масса расплавленного железа наполняет ее тело. Она мяукала, и я понял, что она просит пить. Я спустился за водою в свежий лесок, из ясеней и берез. Там в ложбинке тек ручей. Но глыбы песчаника и группы карликовых дубков возвышались на его берегу, и я не мог добраться до него. Я поскользнулся на мшистом камне, и у меня без боли и поранения отскочила от плеча левая рука. Я взял ее в правую руку. Она была бесчувственна и холодна; ее прикосновение было мне неприятно. Я подумал, что теперь я могу ее потерять, и что это тяжелая кабала на всю остальную жизнь — все время заботиться об ее сохранности. Я решил заказать ящик из черного дерева и держать ее там, когда не буду ею пользоваться. Озябнув в этой сырой ложине, я вышел из нее по дикой тропинке, приведшей меня на площадку, где дул ветер, и все деревья скорбно гнулись. Там по желтой дороге шла процессия.

Это была деревенская, смиренная процессия, как две капли воды похожая на весенние крестные ходы в деревне Бресе, которые учитель наш, г. Бержере, хорошо знает ¹⁾. Духовенство, братства, богомольцы не представляли ничего особенного, разве только, что ни у кого не было ног, а все двигались на колесиках. Я увидел под балдахином аббата Лантэнь, ставшего деревенским священником, он плакал кровавыми слезами. Я хотел закричать ему: «Я полномочный министр». Но слова застряли у меня в горле, а большая опустившаяся на меня тень заставила меня поднять голову. Это был один из костылей маленькой хромоножки. Они подымались теперь на тысячу метров в небо, и ребенок показался мне черной точкой перед луною. Звезды сделались еще больше и бледнее, и я различал среди них три планеты, сферическая форма которых была ясно доступна глазу. Мне показалось даже, что я различаю несколько пятен на их поверхности. Но эти пятна не соответствовали рисункам Марса, Юпитера и Сатурна, которые я некогда видел в астрономических книгах.

Когда ко мне подошел мой друг Верно, я спросил его, не видит ли он каналы на планете Марсе. «Министерство пало!», — ответил он мне.

На нем не оставалось следов от вертела, которым он был пронзен, но попрежнему у него были цыплячья голова и шея и весь он был облит соусом. Я чувствовал неодолимую потребность изложить ему свою оптическую теорию и продолжить свои рассуждения с того места, где остановился. «У больших крокодилов, водившихся в теплых водах допотопных морей, — сказал я ему, — глаза были устроены, как подзорные трубки...» Вместо того, чтобы слушать меня, он встал за аналой, оказавшийся среди поля, раскрыл антифонарий и запел петухом.

Выйдя из терпения, я отвернулся от него и вскочил в проходивший мимо трамвай. Внутри трамвая была обширная

¹⁾ В оригинале сказано: «semblable à la procession des Rogations» и т. д. Les Rogations — трехдневные процессии и молитвы перед Вознесением, призывающие благословение на поля.

столовая, какие бывают в больших отелях и на океанских пароходах. Стол был убран хрусталем и цветами. Вокруг него, насколько хватал глаз, сидели декольтированные женщины и мужчины во фраках, перед канделябрами и люстрами, образовывавшими бесконечную перспективу света. Мэтр д'отель предложил мне мяса, я взял свою порцию. Но от него шел ужасный запах, и от куска, который я взял в рот, меня стало тошнить. Вдобавок, *мне не хотелось есть*. Сотрапезники встали из-за стола, а я так и не с'ел ни кусочка. Пока лакеи уносили свечи, ко мне подошел Верно и сказал: «Ты не видел декольтированной дамы, сидевшей около тебя? Это была Мелани. Смотри».

И он указал мне из-за занавески на плечи, освещенные белым светом, в темноте под деревьями. Я выскочил вон и бросился вслед за очаровательным видением. На этот раз я догнал ее, почти коснулся. На минуту я почувствовал, как трепещет под моими пальцами прелестное тело. Но она выскользнула из моих объятий, и я обнял колючки.

Вот мой сон.

— Правда, он печален, — заметил г. Бержере, заимствуя выражение у бесхитростной Стратонисы:

«И в ужас можно впасть, себя во сне увидев».

2

Закон—мертвый, но судья живой

— Через несколько дней, — сказал Жан Марто, — мне случилось ночевать в Венсенском лесу. Не ел я полторы сутки.

Г. Губэн протер пенсэ. У него были нежные глаза и суровый взгляд. Он внимательно посмотрел на Жана Марто и сказал тоном упрека:

— Как? И на этот раз вы не ели целые сутки?

— И на этот раз,—ответил Жан Марто,—я не ел целые сутки. Но я был не прав. Неприлично не иметь хлеба. Это непорочно. Голод следовало бы считать преступлением, как бродяжничество. Да и на самом деле оба эти проступка смешиваются, и параграф 269 наказывает тюрьмой от трех до шести месяцев людей, не имеющих средств к существованию. Бродяжничество, согласно Уложению, есть состояние бродяг, людей праздношатающихся, не имеющих ни определенного местожительства, ни средств к существованию, не занимающихся обычно никаким ремеслом, никакой профессией. Они—важные преступники.

— Замечательно,—сказал г. Бержере,—что состояние бродяжничества, наказуемое полугодом тюремного заключения и десятью годами полицейского надзора, есть именно то состояние, на которое Св. Франциск обрекал своих учеников от Св. Марии Ангельской и сестер Св. Клары; Св. Франциск Ассизский и Св. Антоний Падуанский, явись они теперь в Париж проповедывать, легко могли бы очутиться в участке. Я говорю это не к тому, чтобы донести полиции на нищих монахов, которые теперь кишат и путаются между нами. У этих есть средства к существованию, и они знают все ремесла.

— Они достойны уважения, раз они богаты,—сказал Жан Марто,—нищенство запрещено только бедным. Если бы меня нашли под моим деревом, меня бы посадили в тюрьму, и это было бы справедливо. Не имея ничего, я уже тем самым был врагом собственности, а справедливость предписывает защищать собственность против врагов. Священная обязанность судьи заключается в том, чтобы обеспечить каждому то, что ему причитается,—богатому его богатства, бедному его нищету.

— Я размышлял над философией права,—сказал г. Бержере,—и пришел к убеждению, что общественная справедливость покоится на двух положениях: воровство преступно, результаты воровства—священны. Эти принципы обеспечивают безопасность отдельных личностей и поддерживают государственный порядок. Если бы пренебречь одним из этих

благодетельных принципов, все общество рухнуло бы. Они были установлены от начала веков. Вождь, в медвежьей шкуре, вооруженный каменным топором и бронзовым мечом, вернулся со своими товарищами в ограждение, где заключены были дети племени, вместе со стадами женщин и досей. Они привели девушек и юношей соседнего племени и принесли с собою упавшие с неба камни, которые считались драгоценными, так как мечи, сделанные из них, не гнулись. Вождь взошел на холм посреди ограждения и сказал: «Эти рабы и железо, что взял я у слабых и презренных людей,—мои. Кто протянет к ним руку, будет сражен моим топором». Таково происхождение законов. Их дух древний и дикий. Но именно потому, что правосудие есть освящение всех несправедливостей, люди ему и доверяют.

— Судья может быть добрым, так как не все люди злые, закон не может быть добр, будучи древнее самого понятия о доброте. Изменения, которым он подвергся с течением времени, оставили неприкосновенным его исконный характер. Юристы сделали его гибким, но оставили таким же варварским. И как раз жестокости своей он и обязан тем, что его уважают и чтут. Люди склонны поклоняться злым богам, а то, что не жестоко, не заслуживает в их глазах почтения. Подсудимые верят в справедливость законов. У них такие же понятия о нравственности, как и у судей, и проступок наказанный считается у них и заслуживающим наказания. Меня часто трогало на заседаниях исправительного суда, что преступник и судья вполне сходятся в понятиях о добре и зле. У них одни и те же предрассудки и одинаковое представление о нравственности.

— Иначе и не могло бы быть,—ответил Жан Марто,—несчастный, стащивший с прилавка колбасу или пару ботинок, не проникал для этого глубоким взором и бесстрашной мыслью в происхождение права и в основы правосудия. А те, кто, подобно нам, не побоялся увидеть источник Уложений в освящении насилия и несправедливости, те неспособны украсть грош.

— Но в конце концов,—сказал г. Губэн,—есть законы и справедливые.

— Вы так думаете?—спросил Жан Марто.

— Г. Губэн прав,—сказал г. Бержере.—Есть законы справедливые. Но закон, будучи установлен для охраны общества, не может быть по своему духу справедливее, чем само это общество. Пока общество будет основано на несправедливости, до тех пор и законы должны будут защищать и поддерживать несправедливость. И тем больше уважения будут они внушать, чем несправедливее будут. Заметьте также, что, будучи большей частью происхождения древнего, они представляют не столько ныне существующую несправедливость, сколько несправедливость прошлую, более суровую и грубую. Это — памятники злых веков, сохранившиеся в более мягкие дни.

— Но их исправляют,—сказал г. Губэн.

— Их исправляют,—ответил г. Бержере.—Палата и Сенат занимаются этим, когда им больше нечего делать. Но основа остается та же: она жестока. По правде сказать, я не боялся бы дурных законов, если бы они применялись хорошими судьями. Говорят, закон непреклонен. Я этого не думаю. Нет текста, которого нельзя было бы смягчить. Закон — мертвый. Судья — живой; в этом большое его преимущество перед законом. К несчастью, он не пользуется этим преимуществом. Обычно он делается еще мертвее, холоднее, бесчувственнее, чем тексты, которые он применяет. Он лишен человечности, лишен сострадания. Дух сословия заглушает в нем всякую человеческую симпатию.

— Я говорю здесь только о честных судьях.

— Но большинство таково и есть,—сказал г. Губэн.

— Большинство таково и есть,—ответил г. Бержере,—если иметь в виду вульгарную честность и общедоступную мораль. Но разве достаточно быть более или менее честным человеком, чтобы безошибочно и без злоупотреблений пользоваться чудовищною властью карать? Хороший судья должен с простою добротою соединять философский ум. Это чрезмерное требование к человеку, занятому своей карьерой и желающему

подвинуться по службе. Не говоря уже о том, что если он выкажет понятие о нравственности, слишком высокое для своей эпохи, он сделается ненавистным своим собратьям и возбудит общее негодование. Мы называем безнравственностью нравственность, непохожую на нашу. Все, внесшие в мир новую доброту, подвергались презрению со стороны честных людей. Так случилось и с председателем Маньо.

У меня есть его решения, собранные в небольшой том и снабженные примечаниями Анри Лейре. Когда эти решения были постановлены, они возмутили строгих чиновников и добродетельных законодателей. Они свидетельствуют о самом возвышенном уме и о нежнейшей душе. Они исполнены сострадания, человечны и добродетельны. В судебном мире сочли, что у председателя Маньо нет чувства законности, а друзья Мелина обвиняли его в недостаточном уважении к собственности. И правда, что мотивировки, которыми председатель Маньо подкреплял свои решения, необыкновенны — на каждой строчке там встречаются мысли свободного ума и чувства великодушного сердца.

Г. Бержере взял со стола маленький красный томик и, перелистав его, прочел:

«Честность и щепетильность суть две добродетели, которые гораздо легче применять, когда ни в чем не нуждаешься, чем когда лишен всего».

* * *

«Чего нельзя избежать, то не должно было бы подвергаться наказанию».

* * *

«Чтобы справедливо оценить проступок неимущего, судья должен на минуту забыть о благосостоянии, которым он пользуется, дабы возможно полнее вообразить себя в плачевном положении существа, покинутого всеми».

* * *

«Мысль судьи, при истолковании закона, не должна ограничиваться данным случаем, подлежащим рассмотрению, но простираться и на те хорошие или дурные последствия, в более общем смысле, к которым может привести его приговор».

* * *

«Только рабочий производит, рискуя своим здоровьем и жизнью, исключительно ради пользы хозяина, тот же подвергает опасности лишь свой капитал».

— Я привел выдержки почти случайно,—прибавил г. Бержере, закрывая книгу.—Вот новые слова, они—отзвук великой души!

—♦♦♦—

XV

ГОСПОДИН ТОМА

Я знал одного строгого судью. Его звали Тома де Молан, он принадлежал к мелкому провинциальному дворянству. Он поступил на службу в семилетнее правление маршала Мак-Магона, надеясь современем править суд именем короля. У него были убеждения, которые он мог считать незыблемыми, никогда не пытаясь в них копаться. Как только начнешь копаться в убеждениях, под ними всегда найдешь что-то другое и заметишь, что это вовсе и не были убеждения. Тома де Молан тщательно защищал от своей любознательности свои религиозные и общественные убеждения.

Он был судьей в суде первой инстанции в городке Х., где я тогда жил. Его внешность внушала уважение и даже известную симпатию. Он был длинный, сухой, кожа да кости, с желтым лицом. Полнейшая простота придавала ему значительность и важность. Он называл себя господином Тома не потому, чтобы презирал свое дворянство, но потому, что считал себя слишком бедным, чтобы его поддерживать. Я достаточно часто видался с ним, чтобы знать, что его внешность не была обманчивой и что, при узком уме и вялом темпераменте, душа у него была возвышенная. Я открыл в нем большие нравственные достоинства. Но, имея возможность наблюдать, как он исполняет свои судейские обязанности, я заметил, что самая его честность и понятие, которое он себе составил о своих обязанностях, делали его бесчеловечным и порою лишали всякой пронырливости. Так как он был крайне благочестив, то мысль о грехе и искуплении господ-

ствовала у него в уме, даже помимо его сознания, над мыслью о преступлении, и видно было, что он приговаривал виновных к наказанию с приятной мыслью их этим очистить. Он смотрел на человеческое правосудие как на слабое, но всетаки прекрасное, отражение правосудия божественного. Его в детстве научили, что страдание—благо, что в нем самом есть заслуга, добродетель, что оно искупление. В это он верил крепко и считал, что всякому человеку, совершившему проступок, надлежит пострадать. Он любил наказывать. Это было следствием его доброты. Привыкнув благодарить Бога, ниспосылавшего ему зубную боль и колики в печени в наказание за прародительский грех и для вечного спасения, он присуждал бродяг и нищих к тюрьме и штрафу, словно оказывал им благодеяние и помощь. Из своего катехизиса он выводил философию законов и был безжалостен, вследствие прямоты и бесхитростности своего ума. Нельзя сказать, чтобы он был жесток. Но, не будучи чувственным человеком, он не был и чувствительным. Он не имел конкретного и физического представления о человеческом страдании. Он имел о нем понятие чисто нравственное и догматическое. К системе одиночного заключения у него было несколько мистическое пристрастие, и однажды, с сердечной радостью, сквозившей и в его глазах, он показывал мне прекрасную тюрьму, только что выстроенную в его округе! нечто белое, чистое, немое, ужасное: камеры кругом, посередине, в фонаре на маяке, тюремщик. Все это производило впечатление лаборатории, устроенной сумасшедшими для производства сумасшедших. И правда, они—зловещие сумасшедшие, эти изобретатели системы одиночного заключения, которые, чтобы сделать злоумышленника нравственным, подвергают его режиму, от которого тот делается тупым или буйным. Господин Тома судил иначе. Молча и с чувством удовлетворения взирал он на эти ужасные камеры. У него была задняя мысль: он думал, что заключенный никогда не будет одинок, раз с ним Господь. Его спокойный и удовлетворенный взгляд говорил: «Я поместил человек пять или шесть, совершенно одних,

перед лицом их Создателя и Верховного Судии. Нет в мире более завидной участи».

Этому судье было поручено расследование нескольких дел и, между прочим, дело одного преподавателя. Тогда была открытая война между школой светской и церковной. Когда республиканцы заговорили о невежестве и грубости духовенства, местный клерикальный орган обвинил светского воспитателя в том, что он посадил одного ребенка на раскаленную печь. Местная аристократия поверила этому обвинению. Об этом случае передавали возмутительные подробности, и общественные толки возбудили внимание судебных властей. Господин Тома, будучи человеком честным, никогда бы не стал повиноваться своим страстям, если бы знал, что это страсти. Но он принимал их за долг, так как страсти его были религиозными. Он считал своим долгом принимать жалобы, приносимые на безбожную школу, не замечая крайней поспешности, с которою он их принимал. Должен сказать, что он расследовал дело крайне тщательно и с бесконечными стараниями. Он расследовал его по обычному для правосудия методу, и результаты получились удивительные. Тридцать школьников, которых он подверг тщательному допросу, отвечали сначала плохо, потом лучше, наконец совсем хорошо. После месяца допросов они отвечали так хорошо, что все давали один и тот же ответ. Тридцать показаний сходились между собою, были тождественны, совпадали дословно, и эти дети, говорившие в первый день, что они ничего не видели, теперь ясным голосом, в одних и тех же выражениях показывали, что их маленького товарища голый задницей посадили на горячую печку. Судья Тома поздравлял уже себя с таким успехом, как вдруг воспитатель установил, на основании неопровержимых доказательств, что в школе и печки-то никогда не бывало. У господина Тома явилось тогда некоторое подозрение, не врут ли дети. Но он совершенно не заметил, что сам же, не желая того, продиктовал им и заставил их выучить наизусть показания.

Дело кончилось признанием отсутствия состава преступле-

ния. Учитель был отпущен домой, выслушав строгий выговор от судьи, посоветовавшего ему обуздывать впредь свои грубые инстинкты. Дети из церковных школ устраивали кошачьи концерты перед его опустевшей школой. Когда он выходил из дому, они кричали ему: «Эге! задницу палил!», бросали в него камнями. Инспектор начальных училищ, узнав о положении вещей, сделал доклад, в котором доказывал необходимость немедленного перевода учителя, не пользующегося уважением своих учеников. Его послали в деревню, где говорят на наречии, которого он не понимает. Зовут его там «паленый зад». Это единственное французское выражение, которое там знают.

Посещая господина Тома, я узнал, однажды, как происходит, что показания, снятые одним следователем, оказываются все в одном и том же роде. Он привял меня в кабинете в то время, когда в присутствии своего писца допрашивал свидетеля. Я намеревался уйти, но он попросил меня остаться, так как мое присутствие ничем не могло повредить благополучному отправлению правосудия.

Я сел в угол и слышал вопросы и ответы.

— Дюваль, видели вы обвиняемого в шесть часов вечера?

— Жена моя смотрела в окно, господин судья, и говорит: «Вот идет Сакардо».

— Его появление под вашими окнами было чем-нибудь примечательным, раз она потрудилась даже специально оповестить вас об этом? А манеры обвиняемого показались вам подозрительными?

— Я говорил уже вам, господин судья. Жена мне сказала: «Вот идет Сакардо!» Тогда я посмотрел и говорю: «Действительно, это Сакардо!»

— Отлично! Протоколист, занесите: «В шесть часов полудни супруга Дюваль заметила подсудимого, который бродил вокруг дома с подозрительным видом».

Господин Тома задал еще несколько вопросов свидетелю, который был простым поденщиком; он собрал ответы и продиктовал их протоколисту, переводя их на судейский язык. Потом

свидетель прослушал свое показание, подписал его, поклонился и вышел.

— Почему,—спросил я тогда,—вы не записываете показаний такими, какими они вам даются, вместо того, чтобы переводить их на язык, которым свидетель не говорит?

Господин Тома посмотрел на меня с удивлением и спокойно ответил:

— Я не знаю, что вы хотите этим сказать? Я заново показываю с возможной точностью. И все чиновники поступают так же. В летописи суда нет ни одного примера показания, искаженного или сокращенного судьей. Если, согласно постоянному обычаю моих коллег, я изменяю самые выражения свидетелей, то это потому, что свидетели, как вот этот Дюваль, которого вы только что слышали, плохо выражаются, и было бы противно достоинству правосудия записывать неправильные выражения, незкие и часто грубые, когда в этом нет никакой необходимости. Но, кажется, дорогой мой, что вы совершенно не даете себе ясного отчета, в каких условиях производится судебное следствие. Не надо упускать из виду цель, которую ставит себе судейский чиновник, собирая и группируя свидетельства. Нужно не только, чтобы дело стало ясным ему самому, но чтобы ясным оно стало и суду. Недостаточно, чтобы в его уме просветлело, нужно, чтобы просветлело в уме судей. Важно, чтобы он осветил доказательства вины, скрытые иногда в уклончивых или расплывчатых показаниях свидетеля, также как и в двусмысленных ответах обвиняемого. Если заносить показания без всякого порядка и системы, то самые основательные из них покажутся слабыми, и большинство виновных избежит наказания.

— Но разве этот прием, состоящий в том, чтобы неопределенной мысли свидетелей придавать определенность, разве этот прием не включает в себе опасности?

— Он заключал бы ее, если бы судьи не были совестливыми. Но я до сих пор не встречал судьи, у которого не было бы высокого сознания своих обязанностей. А между тем, я

заседал вместе с протестантами, деистами и евреями. Но они были судьями.

— Во всяком случае, господин Тома, ваш образ действий имеет то неудобство, что свидетель, которому вы прочтете его показания, почти не сможет их понять, раз вы облекли их в выражения, к которым он не привык, и смысл которых от него ускользает. Что значит для поденщика такое выражение, как «подозрительный вид»?

Он ответил с живостью:

— Я думал об этом и принимаю против этой опасности тщательные предосторожности. Сейчас я вам приведу пример. Несколько времени тому назад свидетель, человек довольно ограниченного ума, нравственный уровень которого был мне неизвестен, невнимательно слушал чтение своих же собственных показаний. Я велел прочесть ему второй раз и попросил его слушать внимательнее. Мне показалось, что он этого не сделал. Тогда я прибег к военной хитрости, чтобы привести его к более сознательному отношению к своим обязанностям и к своей ответственности. Я продиктовал протоколисту последнюю фразу, совершенно противоречившую всем предыдущим и предложил свидетелю подписаться. В ту минуту, как он занес перо, я остановил его руку: «Несчастный!» — вскричал я, — «вы собираетесь подписать показание, противное тому, которое вы только что дали, и совершить таким образом преступное деяние».

— Ну, и что же он вам на это сказал?

— Он жалобно ответил: «Господин судья, вы образованнее меня, вы лучше меня должны знать, что следует написать». Вы видите, — прибавил г. Тома, — что судья, заботящийся о тщательном исполнении своих обязанностей, остерегается всякого повода к заблуждениям. Поверьте мне, сударь, судебные ошибки — выдумка.

Анри Моно

XVI

ДОМАШНЯЯ КРАЖА

Лет десять тому назад, может быть, больше, может быть, меньше, я посетил одну женскую тюрьму. Она помещалась в старинном замке, выстроенном при Генрихе IV, высокие аспидные крыши которого далеко виднелись над мрачным южным городком, расположенным на берегу реки. Директор тюрьмы почти уже выслужил пенсию; у него был черный парик и седая борода. Это был необыкновенный директор. Он думал самостоятельно и имел человеческие чувства. Он не обольщался относительно нравственного уровня трехсот своих заключенных, но не считал его ниже, чем у любых трехсот женщин, взятых наудачу в любом городе.

— Здесь всего есть, так же как и везде, — казалось, говорил его кроткий и усталый взгляд.

Когда мы проходили через двор, длинная вереница заключенных кончала молчаливую прогулку и возвращалась в мастерские. Среди них было много старух тупого и понурого вида. Мой друг, доктор Кабан, сопровождавший нас, обратил мое внимание на то, что почти у всех этих женщин были характерные физические недостатки, что часто они косили, что это были вырождающиеся, меж которыми мало было неотмеченных знаком преступления или, по меньшей мере, проступка.

Директор медленно покачал головой. Я отлично видел, что он не очень-то разделял теории врачей-криминалистов и оставался при убеждении, что в нашем обществе виновные не всегда уже так отличаются от невинных.

Он повел нас в мастерские. Мы увидели булочниц, пра-

чек, беловшее за работой. Работа и чистота вносили сюда почти что некоторую долю радости. Директор обращался со всеми этими женщинами с добротой. Самые глупые и самые злые не выводили его из терпения и благодушия. Он считал, что следует многое прощать людям, с которыми живешь, и не нужно быть слишком взыскательным даже и с людьми ненормальными и преступными; вопреки обычаю, он не требовал от воровок и своден, чтобы они стали примерными, потому что их наказали. Он почти не верил в моральное воздействие кары и не надеялся сделать из тюрьмы школу нравственности. Не думая, чтобы можно было сделать людей лучше, заставляя их страдать, он, сколько мог, старался избавлять от страдания этих несчастных. Не знаю, было ли в нем религиозное чувство, но он не придавал никакого нравственного значения идее искупления.

— Я истолковываю правила,—сказал он,—раньше чем их применять. Я сам их объясняю заключенным. Например: правилом предписывается полное молчание. Но если бы они соблюдали полное молчание, они бы все обратились в идиотов или в сумасшедших. Я думаю, я должен думать, что правила стремятся не к этому. Я говорю им: правила предписывают вам хранить молчание. Что это значит? Это значит, что надзирательницы не должны вас слышать. Если вас услышат, вы будете наказаны; если вас не будут слышать, вас не в чем будет упрекнуть. Я не спрашиваю у вас отчета в ваших мыслях. Если ваши слова так же бесшумны, как ваши мысли, я не должен спрашивать у вас отчета и в ваших словах. Предупрежденные таким образом, они учатся говорить, так сказать, не издавая звука. Они не сходят с ума, а правила оказываются выполненными.

Я спросил его, одобряет ли начальство такое толкование правил.

Он отвечал, что инспектора часто делали ему замечания, тогда он подводил их к наружной двери и говорил: «Видите эту решетку? она деревянная. Если бы тут были заключены мужчины, через неделю не осталось бы ни одного из них.

Женщинам не придет в голову убежать. Но неблагоприятно приводить их в бешенство. Тюремный режим и так уж не очень благоприятен для их физического и нравственного здоровья. Я не берусь стеречь их, если вы подвергнете их пытке молчания».

Лазарет и спальни, которые мы затем осматривали, помещались в больших выбеленных залах, сохранивших от прежнего своего блеска только монументальные каминные из серого камня и черного мрамора, украшенные пышными рельефными Добродетелями. Правосудие, вылепленное около 1600 года каким-то итальянизированным фламандским художником, с голой шеей и бедром, выступающим из разрезной туники, держало в жирной руке перекинутые весы, чашки которых стукались друг о друга, как тарелки в оркестре. Богиня эта направляла острие своего меча на маленькую больную, лежащую на железной кровати, на тоненьком, точно сложенная салфетка, матрасе. Вы сказали бы, что это—ребенок.

— Ну как? поправляемся?—спросил доктор Кабан.

— Да, сударь, теперь гораздо лучше.

И она улыбнулась.

— Будьте умницей, и вы совсем поправитесь.

Она посмотрела на доктора глазами, полными радости и надежды.

— Эта малютка была серьезно больна,—сказал доктор Кабан.

Мы прошли мимо.

— За что ее осудили? за какой проступок?

— Не за проступок, а за крупное преступление.

— А!

— За детоубийство.

В конце длинного коридора, мы вошли в маленькую комнату, довольно веселую, сплошь заставленную шкапами, окна которой были без решеток и выходили в поле. Хоро-

пенькая молодая женщина писала за письменным столом. Стоя около нее, другая, очень стройная, искала ключ в связке, висевшей у ней на поясе. Я чуть не принял их за дочерей директора. Он предупредил меня, что это заключенные.

— Разве вы не видите, что на них казенные платья?

Я не заметил этого, вероятно, потому, что они сидели на них не так, как на прочих.

Их платья сшиты лучше, а чепчики меньше, так что видны волосы.

— Довольно трудно запретить женщине показывать волосы, когда они у ней хорошие. Эти обе подчинены общему режиму и принудительным работам.

— Чем же они занимаются?

— Одна—письмоводительница, другая—библиотекарь.

Не было надобности объяснять, что обе были преступницами на «романической почве». Директор не скрывал от нас, что осужденным за мелкие проступки он предпочитал уголовных преступниц.

— Я знаю таких из них,—говорил он,—которые остались как будто чуждыми своему преступлению. В их жизни это было чем-то молниеносным. Они способны на прямоту, мужество и великодушие. Я не могу сказать того же про моих воровок. Их проступки, мелкие и пошлые, составляют ткань их существования. Они неисправимы. И эта душевная низость, толкнувшая их на предосудительные поступки, ежеминутно сказывается в их поведении. Наказание, которому они подвергаются, относительно легкое, и так как они мало восприимчивы физически и нравственно, то чаще всего они его переносят легко.

— Это не значит,—прибавил он живо,—чтобы все эти несчастные были недостойны сожаления и не заслуживали участия. Чем дольше я их вижу, тем больше замечаю, что виновных нет, есть только несчастные.

Он ввел нас в свой кабинет и приказал надзирателю привести заключенную 503.

— Сейчас,—сказал он нам,—я покажу вам зрелище, которого я не подготовлял, прошу вас этому верить, и которое, без сомнения, внушит вам новые размышления относительно преступления и наказания. То, что вы увидите и услышите, я видел и слышал сотню раз в своей жизни.

В кабинет вместе с надзирательницей вошла заключенная. Это была молодая, довольно красивая крестьянка, простая, глупая и кроткая с виду.

— Могу сообщить вам приятную новость, сказал ей директор. Г-н Президент Республики, узнав о вашем хорошем поведении, освобождает вас до срока. Вы выйдете в субботу.

Разинув рот, сложив руки на животе, она слушала. Но мысли не быстро проникали ей в голову.

— В ближайшую субботу вы выйдете из этого заведения. Вы будете свободны.

На этот раз она поняла, ее руки поднялись в отчаянии, губы задрожали:

— Правда? Я должна буду уйти? Что же со мною станется? Здесь меня одевали, кормили и все. Не можете ли вы сказать этому хорошему господину, что лучше мне остаться, где я теперь?

Директор с кроткой твердостью начал ей доказывать, что она не может не принять оказанной ей милости; затем сообщил ей, что при уходе ей дадут некоторую сумму, десять, двенадцать франков.

Она вышла со слезами.

Я спросил, в чем она провинилась.

Он стал перелистывать списки.

— 503. Она была работницей у земледельцев. Украла юбку у хозяев... Домашняя кража... Вы знаете,—закон строго карает домашнюю кражу.



XVII

ЭДМЭ ИЛИ БЛАГОДЕЯНИЕ КСТАТИ

Ортер, основатель «Звезды», политический и литературный редактор «Национального Обозрения» и «Иллюстрированного Нового Века», Ортер, приняв меня, сказал из глубины своего редакторского кресла:

— Добрейший Марто, напишите рассказ для специального номера «Нового Века». Триста строк, для нового года. Что-нибудь бойкое, с аристократическим оттенком.

Я ответил Ортеру, что не очень подхожу для такой задачи, но охотно дам ему рассказ.

— Мне бы очень хотелось, — сказал он, — чтобы это называлось: Рассказ для богатых.

— Лучше: Рассказ для бедных.

— Вот, вот. Рассказ, внушающий богатым сострадание к бедным.

— А я как раз не люблю, чтобы богатые чувствовали сострадание к бедным.

— Странно!

— Не странно, а научно. Я считаю сострадание богача к бедняку оскорбительным и противоречащим человеческому братству. Если вы желаете, чтобы я обратился к богатым, я им скажу: «Избавьте бедных от вашей жалости, она им ни к чему. Почему жалость, а не справедливость? У вас с ними счеты. Сведите счеты. Чувство тут не причем. Это дело коммерческое. Если ваше милостивое пожертвование служит для того, чтобы продлить состояние их бедности и вашего богатства, то это дар несправедливый, и от слез, которые вы к нему

примешиваете, он не станет более справедливым». «Нужно возместить», как говорил прокурор судье после проповеди брата Мэйара. Вы даете милостыню, чтобы не возмещать. Вы даете немного, чтобы удержать многое, и довольны. Так Самосский тиран бросил перстень в море. Но божественная Немезида не приняла этой жертвы. Рыбак принес обратно тирану его перстень в животе рыбы. И Поликрат лишился всех своих богатств».

— Вы шутите.

— Я не шучу. Я дам понять богатым, что они благотворят, как торговцы на распродаже, и щедры по денежной цене, что они проводят кредиторов и что так дела не делаются. Такое предостережение может им быть на пользу.

— И вы хотите подобные мысли поместить в «Новом Веке», чтобы провалить газету? Ну нет, мой друг, нет.

— Почему вы хотите, чтобы с бедными богатым обращался не так, как с богатыми и имеющими власть? Он платит им то, что должен, а если ничего не должен, то ничего и не платит. Это честность. Если он честный человек, то должен быть честным и по отношению к беднякам. Не говорите, что богатые ничего не должны бедным. Я не верю, чтобы хоть один богач так думал. Сомнения существуют только относительно величины этого долга. И эти сомнения люди не торопятся разрешать. Предпочитают оставаться в неопределенности. Знают, что должны. Не знают, сколько должны, и время от времени делают маленькие погашения. Это называется благотворительностью, и это выгодно.

— Но, дорогой сотрудник, то, что вы говорите, лишено здравого смысла. Я, может быть, еще более социалист, чем вы, но я — человек практический. Избавить кого-нибудь от страдания, продлить одну жизнь, загладить хоть частицу общественной несправедливости, — это уже достижение. Это не все, но кое-что. Если маленький рассказ, о котором я вас прошу, растрогает сотню наших богатых подписчиков и расположит их к благотворительности, это уже известное преодо-

ление зла и страданий. Таким образом, мало по малу существование бедных и делается сносным.

— Да хорошо ли, чтобы существование бедных делалось сносным? Бедность необходима богатству, богатство необходимо бедности. Два эти зла порождают и поддерживают одно другое. Не следует улучшать состояния бедных, нужно его упразднить. Я не буду призывать богатых к милостыне, потому что милостыня их отравлена, потому что милостыня полезна дающему и вредна принимающему ее и, наконец, потому, что не следует, чтобы богатство, само по себе суровое и жестокое, принимало обманчивую видимость мягкости. Раз вы хотите, чтобы я написал рассказ для богатых, я им скажу: «Бедняки—ваши псы, которых вы кормите для того, чтобы они кусались. Облагодетельствованные—для собственников свора, лающая на пролетариат. Богатые дают только тем, кто просит. Рабочие ничего не просят. И ничего не получают».

— А сироты, калеки, старики?

— Они имеют право на существование. Я не буду возбуждать жалости к ним; я буду взывать к праву.

— Все это теории! Вернемся к действительности. Вы мне напишете небольшой *новогодний* рассказ и можете придать ему социалистический оттенок. Социализм достаточно моден. Это—хороший тон. Разумеется, я говорю не о социализме Геда или о социализме Жореса, я имею в виду хороший, настоящий социализм, который люди светские остроумно и удачно противопоставляют коллективизму. Пусть в рассказе действует молодежь. Он будет иллюстрирован, а на картинках публика любит лишь изящные изображения. Выведите молодую девушку, очаровательную молодую девушку. Это не трудно.

— Нет, это не трудно.

— Нельзя ли ввести еще в рассказ маленького трубочиста? У меня есть готовая цветная гравюра, изображающая молодую девушку, подающую милостыню маленькому трубочисту на ступенях церкви Маделэн. Будет случай ее использовать... Холодно, идет снег, хорошенькая барышня подает

милостыню маленькому трубочисту... Вы представляете себе это?

— Представляю.

— Вы уж распишите это.

— Распишу. Маленький трубочист, вне себя от благодарности, бросается на шею хорошенькой барышне, которая оказывается дочерью самого графа де-Линот. Он целует ее и запечатлевает на щеке прелестного ребенка маленькое О из сажи, маленькое О, кругленькое и черное. Он любит ее. Эдмэ (ее зовут Эдмэ) не безучастна к такому искреннему и невинному чувству... Мне кажется, что мысль довольно трогательная.

— Да... из этого можно кое-что сделать.

— Вы поощряете меня на продолжение. Итак: Вернувшись в свою роскошную квартиру на бульваре Мальзерб, Эдмэ впервые испытывает нежелание мыться: ей хотелось бы сохранить на щеке отпечаток губ, прикоснувшихся к ней. Между тем, маленький трубочист проводил ее до дому, он в восхищении останавливается перед окнами обожаемой девушки... Годится?

— Н...да.

— Я продолжаю. На следующее утро, Эдмэ, лежа в своей белой кровати, видит, что маленький трубочист выходит из камина в ее комнате. Он простосердечно бросается на прелестное дитя и покрывает ее маленькими, круглыми О из сажи. Я забыл вам сказать, что он на редкость красив. Графиня Линот застаёт его за этим сладостным занятием. Она кричит, зовет. Он так занят, что не видит ее и не слышит.

— Дорогой Марто...

— Он так занят, что не видит и не слышит. Прибегает граф. У него душа дворянина. Он схватывает маленького трубочиста за зад штанов, как раз за то место, что представляется его взорам, и выбрасывает его за окошко.

— Дорогой Марто...

— Я сокращаю... Через девять месяцев маленький трубочист женится на благородной девушке. Это было сделано как раз во-время. Вот последствия уместного благодеяния.

— Дорогой Марто, довольно вы меня морочили.

— Ничего подобного. Я кончаю. Женившись на мадемуазель де-Линот, маленький трубочист сделался римским графом и разорился на бегах. Теперь он печник в улице Гете на Монпарнасе. Жена его сидит в лавке и продает переносные печи по 18 франков, с рассрочкой на 8 месяцев.

— Дорогой Марто, это не забавно...

— Осторожно, дорогой Ортер. То, что я вам сейчас рассказал, в сущности говоря, это — «Падение ангела» Ламартина и «Элоа» Альфреда де-Виньи. И, по правде сказать, это лучше, чем ваши слезливые истории, убеждающие людей в том, что они хороши, меж тем как они отнюдь не хороши, что они делают добро, когда они добра не делают, что им легко оказывать благодеяния, меж тем как это самая трудная вещь в мире. Мой рассказ нравоучителен. Более того, он оптимистичен и благополучно кончается. Потому что Эдмэ нашла в лавке на улице Гете счастье, которого она тщетно искала бы в развлечениях и праздниках, выйди она замуж за дипломата или офицера... Ну, что ж, решено, дорогой редактор, берете вы для «Иллюстрированного Нового Века» мою «Эдмэ или благодеяние кстати»?

— Вы, кажется, спрашиваете меня об этом серьезно?

— Я спрашиваю серьезно. Если мой рассказ вам не подходит, я напечатаю его в другом месте.

— Где?

— В буржуазной газете.

— Сомневаюсь!

— Увидим ¹⁾.



¹⁾ Газета «Фигаро», редактируемая г. де-Родэ, напечатала «Эдмэ или благодеяние кстати». Можно даже заметить, что эта вещь была преподнесена читателям, как рождественский рассказ.

БИБЛИОГРАФИЯ

Рассказы Ан. Франса часто появлялись в различных журналах, газетах, сборниках и выходили и отдельными изданиями. Особенною популярностью у нас пользуется «Кренкебиль». Кроме «Собрания сочинений» Ф. (изд. Саблина, т. XI. М., 1911), он напечатан в «Нов. Журн. Иностран. Литературы» 1906, № 7, прилож., издан. Е. М. Алексеевой, в перев. Н. Пономарева. Киев, 1905; издательством «Новый Мир». М., 1906; «Народным Издательством». М., 1911 («Дешевая Библиотека», № 8); «Библиотекой-Копейкой», СПб., 1918 («Уличный торговец»), изд-вом «Колокол» (А. Франс «Рассказы». Пер. под. ред. А. Фриче. СПб., 1906); изд. «Всемирная Литература» («Дело уличного торговца», П. 1919) и др.

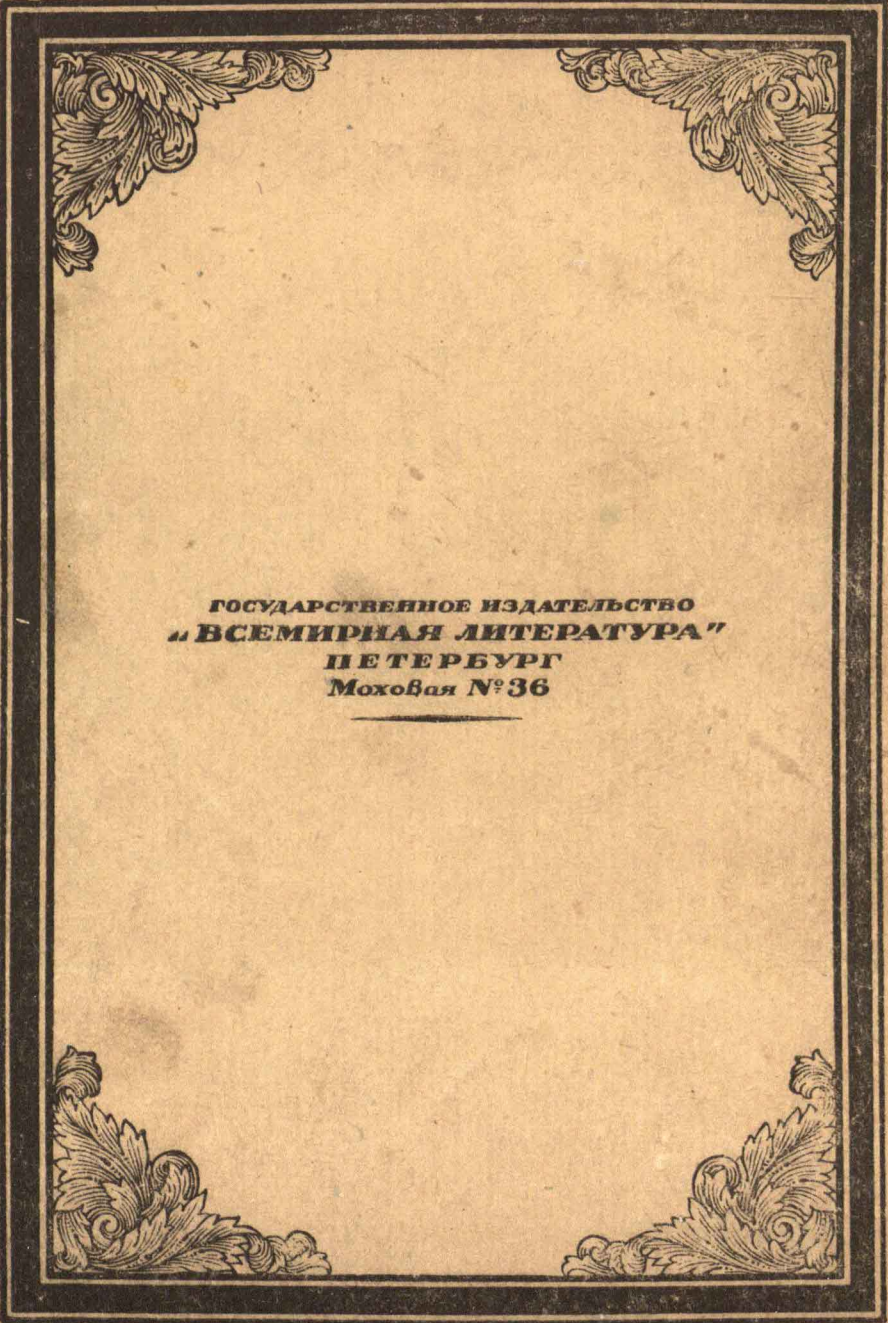
Из сборников назовем: «Признание скептика» и др. рассказы. Пер. В. Горленко. СПб., 1903.

Рассказы. Пер. А. и Е. Герцык. М., 1906.

Рассказы. Пер. Бальмонта, Ф. Д. Батюшкова, А. И. Куприна, Ладженского, Е. А. Ляцкого, Н. А. Пыпина, О. Чюминой. Изд. «Обществ. Польза». СПб., 1909.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие <i>К. Раткевич</i>	7—9
I. Кренкебиль	11—36
II. Пютуа	37—51
III. Рике	52—56
IV. Мысли Рике	57—60
V. Галстук	61—65
VI. Онезим Дюпон	66—71
VII. Большие маневры в Монтиле	72—78
VIII. Эмиль	79—83
IX. Адриенна Бюкэ	84—90
X. Гемма	91—101
XI. Синьора Кьяра	102—103
XII. Неподкупные судьи	104—108
XIII. Океанский Христос	109—112
XIV. Жан Марго	113—122
XV. Господин Тома	123—128
XVI. Домашняя кража	129—133
XVII. Эдмэ или благодеяние ксати	134—138
Библиография	139



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ПЕТЕРБУРГ
Моховая № 36